



НИНА ФЁДОРОВА

СЕМЬЯ

Нина Федорова

Семья

Православное издательство "Сатись"

1940

Федорова Н.

Семья / Н. Федорова — Православное издательство "Сатись",
1940

ISBN 978-5-7868-0097-6

Эта удивительная книга рассказывает о вере и стойкости, о духовной жизни и открытости к людям, о патриотизме и о любви.

ISBN 978-5-7868-0097-6

© Федорова Н., 1940
© Православное издательство
"Сатись", 1940

Содержание

Об авторе	6
Часть первая	7
Глава первая	7
Глава вторая	10
Глава третья	14
Глава четвертая	18
Глава пятая	20
Глава шестая	23
Глава седьмая	26
Глава восьмая	29
Глава девятая	32
Глава десятая	35
Глава одиннадцатая	38
Глава двенадцатая	43
Глава тринадцатая	47
Глава четырнадцатая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Нина Федорова

Семья

© Н. Федорова, текст, 2013

© Издательство «Сатись», оригинал-макет, оформление, 2013

* * *

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА

Об авторе

Нина Федорова (настоящее имя – Антонина Федоровна Рязановская; 1895–1983) родилась в г. Лохвице Полтавской губернии, а умерла в Сан-Франциско. Однако, строго говоря, Нину Федорову нельзя назвать эмигранткой. Она не покидала Родины. Получив образование в Петрограде, Нина Федорова переехала в Харбин, русский город в Китае. Там ее застала Октябрьская революция. Вскоре все русские, живущие в Харбине, были лишены советского гражданства. Многие из тех, кто сразу переехал в Россию, погибли. В Харбине Нина Федорова преподавала русский язык и литературу в местной гимназии, а с переездом в США – в колледже штата Орегон. Последние годы жизни провела в Сан-Франциско. Антонина Федоровна Рязановская была женой выдающегося ученого-культуролога Валентина Александровича Рязановского и матерью двух сыновей, которые стали учеными-историками, по их книгам в американских университетах изучают русскую историю. Роман «Семья» был написан на английском языке и в 1940 году опубликован в США. За его написание Нина Федорова была удостоена премии популярного американского журнала «Атлантический ежемесячник». Роман переведен на двенадцать языков, а в 1952 году был издан в Нью-Йорке на русском.

«...есть и нетленная краса».

Ф.И. Тютчев

Часть первая

Глава первая

Единственное, что они, несомненно, унаследовали от многих поколений своих благородных предков, был длинный и тонкий аристократический нос. Хотя, по форме, это был все тот же нос, полученный по наследству всеми членами семьи, он выглядел различно на лице каждого из них. Он выражал достоинство и терпение на усталом лице Бабушки. На увядающем лице Матери он был воплощением покорности судьбе. У Пети он говорил о тайной обиде, о назревающем бунте. Очаровательным он казался на нежном лице Лиды: он говорил, он пел о замечательных надеждах, о романтических мечтах, о том, как жизнь прекрасна в семнадцать лет. Он был обыкновеннейшим носиком на худеньком, веснушчатом личике Димы. Здесь он забавно и трогательно морщился, реагируя на неожиданности жизни. И все же это был тот же нос, объединяющий их в одну семью.

Семья эта была русская, когда-то, в прошлом, большая, богатая, знатная. Пройдя через войну и революцию, перенеся преследования, нищету, болезни и голод, пережив пожар, испытывав потоп и землетрясение, семья потеряла одних Своих членов, породила новых. Смертность все же оказалась проворней рождаемости – и теперь семья состояла из пяти человек, итог длительного процесса роста генеалогического древа. Это были бабушка, мать, дочь и два племянника-сироты, оставшиеся от двух умерших братьев. Все вместе они составляли семью на чужбине, «дубовый листок», давно и навек оторвавшийся от «ветки родимой».

Буря гнала их на Восток. 1937 год застал их в Китае, в Тяньцзине. Они жили в наименее фешенебельной и потому наиболее дешевой части британской концессии, неподалеку от берегов загадочной Хэй-Хо.

На первый взгляд иностранные концессии в Китае имеют внешне европейский вид. На широких мощеных улицах, окаймленных деревьями, среди домов современной архитектуры, турист белой расы чувствует себя как дома. Но вот он начинает замечать, что деревья по большей части голы, что между домами стены из серого камня, порою с башнями и бойницами. Чей-то подозрительный глаз уже глянул оттуда на пешехода. Турист смотрит вверх. Стены утыканы острыми гвоздями, усыпаны колким битым стеклом. Чья-то винтовка гуляет у башни, и к ней уже бегут две другие. Но все это без звука, без шороха.

Эта крепость – дом богача китайца. Их много. Там своя жизнь и должна быть какая-то своя тайна. Эта жизнь и эта тайна ревниво оберегаются. Атмосфера настороженности окружает такое жилище.

Но турист любопытен. Он хочет видеть.

Единственный вход в такую крепость – маленькие, выкрашенные в яркую, обычно красную, краску железные ворота, с тяжелыми чугунными болтами, задвинутыми наглухо. «И самый любопытный глаз самого любопытного туриста не увидит ничего, кроме холодного, мертвого камня и пылающих, как сердце, ярких ворот. Но бывает миг, когда ворота открыты, и, если подстеречь, можно увидеть больше.

Турист увидит изумительный сад с искусственными скалами и маленькими озерами, с аллеями редких цветов, с птицами в клетках и на воде. Изящные, артистически выращенные и подстриженные деревья бросают на все нежную кружевную тень. Беседки из лакированного дерева – зеленые, синие, красные с золотом – отдыхают в тени. Мраморный лев с круглыми глазами и широко раскрытой пастью, по-видимому, чем-то страшно рассержен. Бронзовый дракон, свисая с покатої черепичной крыши, улыбается коварной змеиной улыбкой. И все это среди могильной тишины.

И вдруг на тропинке появляется прелестная стройная женщина в сияющей шелковой одежде, с маленьким цветочком в черной гладкой прическе. А за нею – служанка на коротких ножках уже бежит, раскачиваясь направо и налево. И на все это зеркало, всегда укрепленное где-то над воротами, изнутри, вдруг бросит во двор сноп лучей яркого, острого, как нож, света.

Но это был миг, и видение всегда мимолетно. Уже чьи-то невидимые руки поспешно захлопнули ворота. Гремит засов. Винтовки склонились с бойницы. И снова турист стоит на улице почти европейского города. Он даже не верит тому, что только что видел.

Чем дальше от центра концессии, тем меньше английского в ней остается. Люди иных рас и наций теснятся на ее окраинах, пытаясь укрыться от интернациональных и личных невзгод под сенью гордого флага могущественной Британской империи. Она самая могущественная в мире и им всем мачеха. К ней толпятся, желая быть хотя бы и пасынком. В одиночку и семьями живут в пансионах, где сдают комнаты со столом и удобствами и без стола и без удобств, даже без мебели, воды, света и кухни.

Такой именно пансион снимала Семья и от себя уже сдавала комнаты жильцам. Пансион этот находился на Конг-стрит, номер одиннадцать.

Предприятие это, заставляя всех членов семьи работать, не приносило никакого дохода. Каждый искал что-нибудь добыть на стороне и внести эту лепту на покрытие общесемейных издержек.

Много книг существует по вопросам экономики, при университетах есть для нее отдельные факультеты, но, к глубокому сожалению публики, все вопросы трактуются лишь в больших масштабах. Легко найти подобные сведения о мировой экономике, о монетных системах и банках, об инфляции, о девальвации, но на самый насущный, самый интересный вопрос – «как прожить семье без денег?» – на этот вопрос нет ответа ни в одной доселе написанной по экономике книге. А между тем именно этот вопрос мучительно интересует, по крайней мере, две трети человечества. Пренебрегаемая в сфере чистой науки практика жизни с семьей, но без денег, делается достоянием сферы искусства и здесь свободно предоставляется индивидуальным талантам, без общих традиций, законов и правил.

Финансовое положение Семьи было неопределенно, более того, ненаучно, нелепо. Оно покоилось на нездоровых экономических началах. Его основами были, во-первых, попытки что-нибудь заработать, во-вторых, развитие навыков обходиться без необходимого. Второе удавалось успешнее первого. Чтобы заработать, необходимо найти, у кого заработать, но это лицо всегда в отсутствии. Умение же обходиться без необходимого есть дело совершенно личное, не зависящее от посторонних, и с годами практики могущее быть доведенным до высокой степени виртуозности и совершенства техники. Так, летом члены Семьи обходились без шляп, перчаток, чулок, носков, пальто; зимой – без галош, теплой одежды, шерстяных вещей; без пищи частенько во все времена года; без тепла, уюта и человеческого участия – десятилетия.

Бабушка более других замечала лишения. Часть ее жизни прошла в благополучии довоенного и дореволюционного быта. Она помнила дом с колоннами, и в нем такое множество вещей! Вещами полны были шкафы, комоды, гардеробы, шифоньеры, сундуки, чемоданы, шкатулки и ящики. Вещами были заставлены чуланы, чердаки, кладовые, сараи, подвалы. Вещи лежали на полках, столах, этажерках. И все время их еще выписывали из-за границы, покупали в магазинах, получали в подарок и по наследству. Теперь же, не имея решительно ничего, она переносила бедность как унижение. Тот факт, что у Лиды была всего одна рубашка, казался Бабушке стыдом и унижением, когда она вспоминала о своем собственном гардеробе в Лидином возрасте. «В Лидином возрасте» у Бабушки имелось уже приданое – несколько дюжин белья с кружевами, вышивками, монограммами, лентами. «Да, да, девочка – нищая!» Но сама Лида, никогда не видев Бабушки в юности и не имея возможности сравнивать, многих лишений не замечала совершенно. Ее мечта была другая. Потомок гордых предков, и она была честолюбива: ей хотелось получить первый городской приз за плавание. Главной надобностью

был купальный костюм. Она его имела. Здесь заканчивались ее стремления к приобретению гардероба.

Для каждого члена Семьи одна и та же жизнь, среди одних и тех же лишений, принимала различный характер. Для Бабушки жизнь была уже разрешенной религиозно-философской проблемой; для Матери она была непрерывной арифметически-хозяйственной задачей; для Пети жизнь обернулась в трагедию постоянно уязвляемой гордости; для Лиды она наполнялась лирическими взлетами надежд и мечтаний; для Димы она обернулась забавой. Возможно, что различное отношение к жизни зависело от разницы в возрасте и практическом опыте. Членам Семьи было от восьми лет до семидесяти. Что же касается опыта, то измерить его трудно за отсутствием общего масштаба.

И все же Семью никак нельзя было назвать несчастной. Таких семей на свете много. Они просыпаются утром с вопросом «быть или не быть?» и ответить на него могут лишь вечером, когда день уже прошел, а они – живы, снова все вместе вокруг стола. Поевши, они начинают мечтать о лучшем будущем.

В этом мире хорошо мечтать умеют лишь бедняки. Бедняк не может не быть хоть немножко поэтом, хотя бы отчасти мечтателем. Мир, реальный для богача, для бедняка фантастичен. Мир полон богатств, застрахованных от его посягательств; пищи, которой он не имеет права есть, одежды, которой он не может носить. Религия, наука, литература – тысячелетиями стремятся его поднять и осчастливить, но он, по-прежнему, гол и бос. Он, по совести, не может быть реалистом. Он мечтает о переменах в жизни. Так и Семья жила мечтами, что вот вдруг случится что-нибудь замечательное и – жизнь станет легче. Этой перемены они ждут со дня на день, каждый по-своему. Бабушка молилась о ней перед *Взыскание погибших*¹, Петя покупал лотерейные билеты. Но до самой весны 1937 года не произошло никакого чуда.

Как и в каждой хорошей русской семье, ее члены были нежно привязаны друг к другу, всегда готовы пожертвовать собой ради общих интересов. Другой национальной чертой была в них особая полнота духовной жизни, трепетный интерес к людям и к миру, в котором они жили. Их интересовали все общечеловеческие проблемы, поэзия, музыка, отвлеченные вопросы духовной жизни. Русский ум отказывается посвятить себя всецело только личным интересам или вопросам одной текущей жизни. Он стремится обосноваться на высоте и оттуда иметь суждение о жизни.

¹ Икона Божией Матери. Точное название: Взыскание погибших. (Здесь и далее примечан. ред.)

Глава вторая

Весной 1937 года только пять комнат пансиона были сданы жильцам. Две комнаты в нижнем этаже занимал мистер Сун, профессор-китаец. В двух комнатах второго этажа, над мистером Суном, жили пять японцев. Одну комнату снимала бывшая гадалка, мадам Милица.

Мистер Сун имел всегда торжественный вид, был печален и молчалив. Японские жильцы были, должно быть, рождены оптимистами: они беспрестанно и восторженно здоровались, улыбались, шипели, кланялись и ежечасно спрашивали всех о здоровье. Их еще никто не видел молчащими или задумчивыми, никто не видел их во весь рост. Они все кланялись. Они то приходили, то уходили, по два и по три, и всегда в иной комбинации, так что в Семье начали уже подозревать, что японцев жило в доме не пять, а, по крайней мере, двенадцать. Все желтые жильцы столовались вне дома, давая поэтому очень скудный доход. Что же касается мадам Милицы, родиной которой были бескрайние степи Бессарабии, то она не только столовалась в доме, но и делилась с Семьей каждой своей надеждой и огорчением, и все же и от нее было очень мало финансовой пользы.

Три комнаты были свободны и ждали новых жильцов.

В это знаменательное майское утро мадам Милица и Бабушка сидели в углу двора, называемого садом. Сад имел два дерева. Они росли в стороне от дорожки, ведущей от калитки к дому, – и сидевший под деревом испытывал сладостное чувство, что он ни у кого не на дороге. Ощущение уюта усиливалось еще и тем, что стена, отделявшая «сад» от улицы, была высока и непрозрачна. Меж двух деревьев уже нетрудно вообразить себя вполне на лоне природы, вдали от ужасов цивилизации.

Под деревьями, за столом, Бабушка и мадам Милица пили кофе. Кофе! Кофе был единственной слабостью Бабушки, единым искушением в ее аскетической жизни. Но существует странный закон, по которому человек не имеет того, чего хочет, и у Бабушки не было денег, чтобы пить свой собственный кофе. Семья пила чай, потому что в Китае чай дешевле, чем кофе.

Кофе был угощением мадам Милицы. По какому-то загадочному устройству внутренних органов, мадам Милица, обычно таинственно и мрачно молчаливая, за чашкой кофе пускалась в длиннейшие монологи и нуждалась в слушателе. Благодаря этой ее странности Бабушка пила кофе, по крайней мере, два раза в день за последние шесть месяцев. Регулярных часов для этого не было. Они пили кофе всякий раз, когда мадам Милица была в нервном состоянии – или подавлена, или оживлена. А за последнее время мадам Милица если не была оживлена, то была подавлена и кофе помогал в обоих случаях.

Итак, в это майское утро они сидели за столом, под деревьями. Бабушка пила кофе и вязала, мадам Милица говорила и пила кофе.

– Посмотрите на меня, и вы увидите честную женщину, – скорбно произнесла мадам Милица, открывая свой монолог.

– Я – честная женщина. Моя душа не запятнана ложью. В этом – увы! – Я похожа на мать, – и она с сокрушением вздохнула. Но, сделав над собой усилие, она продолжала уже более радостным тоном: – А сказать Вам, кто была моя мать? Ангел! Серафим шестикрылый! Но если это и удобно для небес, на земле честность – враг счастья. Верьте словам: честность убьет какое угодно счастье. – И она горестно покачала головой.

У нее была замечательная голова. Трудно было судить о ее действительных размерах под тяжким покровом прически, но с волосами голова эта была вне какой-либо анатомической пропорции с остальными размерами тела. Голова – величественная и торжественная – поражала необычайным изобилием черных кудрей, локонов, челок и завитков. Под этой пышной коллекцией для лица оставалось мало места. Два небольших черных глаза, две впалые щеки,

нос такой небольшой, что не заслуживает описания, и затем во всю нижнюю часть лица злобный рот:

– Взгляните на меня, – продолжала мадам Милица, – посмотрите внимательно и судите сами. Кто я? По воспитанию, образованию и призванию я – гадалка, и, простите за откровенность, знаменитая в своем роде гадалка. Меня знают и помнят благодарная Румыния, Бессарабия, Украина и Дальний Восток. И я безработная! Добровольно, без всякого вмешательства полицейских властей, я сама прекратила прием клиентов. Почему?

Она загадочно умолкла на этом интересном месте, тряхнула головой и, отпив большой глоток кофе, воскликнула:

– Потому что я – честная женщина. Не умею лгать.

Бабушка сочувственно покачала головой. Обе женщины сокрушенно вздохнули.

– До мировой войны дело мое шло прекрасно. Что же случилось? Спрошу вас: где же мои клиенты? Рядовой клиент перестал интересоваться своей судьбой. Он боится правды. Вот вам пример. Как-то раз, перед революцией, пришла ко мне погадать молодая дама. Все у нее благополучно, но муж – на войне. Ждет, чтобы я предсказала ей легкую, красивую жизнь. Бросаю карты: вижу, лежит муж убитый, а даме – вдовство, нищета, страх, болезни и смерть в тюрьме. И все это – в два года. Говорю, что вижу. Честно называю вещи их именами. Представьте ее негодование: она – в тюрьме?! Кричит мне: «Ведьма!» Отвечаю: «Допустим, я – ведьма, тебе от этого не легче!» Дама устроила мне шум и скандал. Есть профессии очень чувствительные к шуму. Она же шумела и в комнате, и на лестнице, и у парадной двери. И что вы думаете? Все жильцы дома, прохожие, публика – все были на ее стороне. Так начались гонения за правду...

Она поникла головой и застонала. Бабушка сокрушенно вздохнула.

Офицеры, бывало, придут ко мне слегка выпивши, конечно, с подругами, целой компанией. Раскину карты и вижу: скорая смерть офицерам. А подругам – голод, холод и далекие поездки в полной нищете. Клиенты уже начали меня бить. Не поймите это фигурально. Нет, били по-настоящему, дождевым, например, зонтиком или палкой. Что я, беззащитная, могла поделаться? Бывало, только и скажу кротко: «Бей, судьбы своей не переменишь!» А карты с каждым днем все страшней да хуже. И совсем не стало клиентов. Поехала я в другой город, потом в третий. Все то же. Поеду, думаю, в Украину, веселый край. Один город, другой, третий, а судьба людям выходит все та же, самая страшная. Тут подоспела бескровная революция и за нею гражданская война. Нет, чего только судьба не готовит человеку! – И мадам Милица в удивлении воздела к небу руки. – Бывало, раскину карты – и онемею. Прибегали ко мне несчастные девушки, брошенные жены, неутешные родители – у всех столько волнений! Брошу карты и вижу: чем дальше, тем всем будет хуже. Пришлось покинуть город. Вижу, качусь уже по Сибири. Бывало, и красный комиссар зайдет погадать. Жаждет душа почестей. И должна я ему сказать, что, правда, кое-что получит из почестей, а потом его же товарищи его и повесят. Не всякий человек любит такую правду. Ругнул меня комиссар очень гадко. А один советский сановник так тот ударил меня по лицу – женщину! Что ж? Вскоре и он был казнен, но мне какое от того утешение? Да... Докатилась я до Харбина. И хоть бы что! Меняю места, а судьба клиента без перемен. Вижу, уже я живу в Китае, приехала в Тяньцзинь – и тут все то же. Как-то девочка пришла. Молоденькая, славенькая. «Погadaйте мне, милая тетя!» Дай, думаю, хоть ей раскину на счастье. Куда тут! Ей, почти ребенку, открываю такую судьбу: позор и гибель. Насильственная смерть. И, заметьте, все это в два-три месяца.

Мадам Милица в отчаянии глотнула кофе и вдруг заговорила каким-то страшным, деловым голосом:

– Ну, и скажите мне теперь по совести, сколько можно спросить с такого ребенка за такое гадание? Стыд и позор, если взять больше полтинника. Немудрено, что заработки мои страшно упали.

Она горько, сардонически усмехнулась и продолжала:

– Зашел как-то ко мне красивый юноша. До чего же красив! Гляжу и в душе восклицаю: «Слепая природа, что делаешь! Такую красоту даешь мужчине!» Такому-то мальчику да не жить, особенно при послевоенном оскудении в приятных мужчинах! Бросила карты: поездка – и совсем недалеко – там смерть. Мгновенная. Говорю ему, сама плачу, а он смеется. Бросил мне доллар серебряный. Ушел. Следила за его жизнью. Поехал мальчик в Шанхай, поступил к богатому китайцу в телохранители. Напали бандиты. Мгновенно: пуля в сердце и навывлет и нет мальчика!

Мадам Милица мрачно качнула головой, и все ее кудри заколыхались, зашелестели.

– Тут я начала размышлять уже над моей жизнью. Разбираюсь; кто были мои клиенты? Румыны, русские, поляки, евреи, украинцы, армяне – угнетенные нации, народы, попираемые историей. Ищу: кто же похитители. Решила на них испробовать карты. Справляюсь, кто господствует, какой ныне международный язык. Отвечают – английский. Стала готовиться. Заучиваю английские слова. В моей профессии не нужно много слов. Жизнь, смерть, деньги, нет денег. Письмо, известие, любовь, болезнь, обман. Иной раз ребенок. Муж, жена, любовник, дальние родственники. Начальство, служба, исполнение желаний. Бывает еще неожиданная встреча, сердечный интерес. Но, сказать честно, двадцать-тридцать слов предскажут судьбу кому хотите. Твердо выучила эти слова. Люблю позволить себе и роскошь сказать определенно брюнетка, блондин, но эти слова на всех языках те же. Приятно побаловать даму словом «подарок», девицу – «поклонник», мужчину – «капитал». Чувствую – готова. Поместила объявления в местных английских газетах. Пишу: «Знаменитейшая гадалка Восточного полушария нашей земли...» И что же? – ни одна душа не откликнулась на мое объявление. Никто не пришел.

Ее голос оборвался. В нем зазвенела слеза. Кудри взлетели и опустились.

– Ни одного клиента!

Бабушка прекратила вязание. Ожидая продолжения монолога, она смотрела на рассказчицу глазами, полными сочувствия и слез. Отвернувшись, избегая ее взгляда, мадам Милица порывисто налила в обе чашки, до краев, свежего кофе и после нескольких глубоких глотков нашла в себе силы для слов.

– Почему они не идут? Так уверены в светлом будущем? Разве нет у англосаксонских народов натурального любопытства к судьбе? Я бы сказала им: «Не доверяйте удаче! Будьте готовы ко всему, ждите несчастья! Его в мире хватит на всех!»

Ее глаза сверкнули жутко, предостерегающе.

Судьба играет со счастливецом в прятки. А тем временем я проедаю свои сбережения, – заметила она вскользь. – Я приняла решение: если клиент не приедет, через две недели уезжаю в Шанхай. По железнодорожному справочнику это – два дня пути. Но я бросила карты. Вижу: много дней и недель путешествия, и по воде, и по земле, и по воздуху – и, заметьте, без прибытия к желаемой цели. Что ж, если и дальше Тянцина никому нет дела до собственной судьбы.

Насколько я знаю, – мягко заговорила Бабушка – англичане не верят гаданиям. С ранних лет учатся полагаться на свои силы и верят, что человек сам строит будущее.

– Они так верят? Ха! – Мадам Милица зловеще засмеялась. – До каких ужасов доходит цивилизация! Мне жаль англичан. Зашли бы, могла бы и им кое-что сказать. И зашли бы, пока не поздно, пока я еще гадаю. Да, вымирает наша профессия, гибнет одно из древнейших знаний. И никто ничего, будто бы так и надо. Кто ж из молодых станет тратить время, жизнь на профессию, которая не интересуется клиентов. Да, уже немного нас, настоящих гадалок, осталось теперь на земле. Десять лет не встречала коллеги.

Она подлила в чашки еще кофе и, наклонившись в сторону Бабушки, заговорила полупшепотом, тоном сердечных признаний.

– Я люблю ваше семейство. Все вы мне дороги. Сколько раз находило на меня искушение бросить карты на вашу семью. Но страшно. И вот через две недели я уеду в Шанхай. И думаю, не попробовать ли... а? Сейчас?

Быстрым движением она вынула колоду карт из кармана и вдохновенно, взволнованно стала их тасовать.

– Люблю я ваше семейство. Мать... бабушка... дети... Приличная семья всегда возит с собой бабушку. Вот уезжаю. Желаю вам всяких благ. Но карты... минута... – и, может быть, конец надеждам. И все-таки, не попробовать ли? А?

Несколько минут обе женщины сидели в молчании и любопытные, и испуганные. Мадам Милица все сильнее поддавалась искушению.

– Знаете, как мы сделаем? Я погадаю лично на Вас. Вы уже старушка. Что Вас может ждать! С Вами уже немного может случиться. Вы и больны, и бедны. Вам и терять нечего... Боитесь смерти?

– Смерти? Нет, не боюсь, – сказала Бабушка, и ее голос не дрогнул. – В жизни теперь я боюсь только расходов.

Она оставила вязанье и посмотрела вдаль. В наружности Бабушки не было ничего особенного. Ой походила на букетик богородской травки: такая же сухонькая, ароматная, хрупкая.

– Что смерть, – сказала она тихо, – но вот похороны могут разорить семью. Гроб, венчик... а свечи, панихида, отпевание? И место на кладбище. И крест на могилу. И это не все. Как гроб доставить на кладбище? Русское кладбище далеко, за Хэй-Хо. Платить за перевоз. Доктору платить за свидетельство о смерти. Батюшке за отпевание... Какой все это страшный расход! Здесь, на чужой земле, кто поможет? Боже мой! Да еще смерть в доме может распугать жильцов. Нет, нет, как только я представлю себе все это, эти расходы, эту дороговизну, то так мне страшно за дочь мою Таню, так ее жалко, что отпадает всякая охота умирать.

И она энергично принялась за вязание.

– Тогда почему б не попробовать карты? вкрадчиво шепнула мадам Милица и, не ожидая ответа, стала тасовать, высоко поднимая руки. Узором падали карты на стол, и глаза Милицы стали пронзительны и горячи, как угли. Вдруг лицо ее приняло удивленное выражение. На мгновение она как бы застыла, не веря глазам.

– Годы, долгие годы я не видала такой раскладки! Скорое исполнение ваших сердечных желаний. Удача, новый друг, интерес и почет. Во-первых, Вы получите службу...

– Я? Службу? – Бабушка даже приподнялась на скамейке. Голубчик, мне семьдесят лет.

– Да, службу, и с хорошим окладом. Загребать будете деньги. Деньги Вам лично и в дом. У Вас появятся серьезные деловые связи. От них – польза всей вашей семье. Но Вы-то умрете. Однако и после этого не видно долгов. Покрыты, вижу, все расходы. Да, Вас ожидает приятная смерть...

И в этот момент судьба отозвалась на карты. Калитка стукнула, и незнакомый господин вошел в сад.

Глава третья

Вошедший, по внешнему виду, был совершенно необычным посетителем для такого дома, как № 11. Даже по ошибке такой господин не должен бы войти в такую калитку. Это был, без сомнения, англичанин, – высокий, здоровый, хорошо одетый, прекрасно выбритый, корректный и высокомерный. Он был человеком иной, счастливой жизни. Он явился с другой планеты. Зачем он вошел в сад? Почему он сначала остановился, посмотрел на фасад дома № 11, а потом сделал два шага по направлению к Бабушке и опять остановился? Чего он мог искать здесь? Он был фантастическим явлением на этом будничном фоне. И почему он не ушел сразу, если лицо его выражало только брезгливое презрение к тому, что он видел?

Англичанин постоял с минуту, как бы давая и себе, и другим время привыкнуть к необычайности положения, – и заговорил по-английски.

Он сказал необыкновенную вещь – в доме № 11 сдавались комнаты и он хотел видеть хозяйку.

Первой пришла в себя Бабушка. Она переменила изумленное выражение на приветливое. Она встала и радушно улыбнулась. Бабушка получила прекрасное воспитание и поэтому легко ориентировалась во всяком положении. По-английски она говорила отлично. Предполагая, что господин пришел по недоразумению, она объяснила, что № 11 – русский пансион, что в нем имеются жилыцы разных национальностей и даже рас; что дом не очень комфортабельный и что, по всем этим причинам, он не подходит для англичанина. Хотя она говорила и быстро и вежливо, господин слушал с брезгливым нетерпением и, едва дав ей закончить, повторил и на этот раз несколько громче то же самое, что сказал и в первый раз: ему нужна комната в пансионе № 11 и он хотел бы видеть хозяйку.

– Войдите, пожалуйста, – сказала Бабушка, кланяясь и приглашая англичанина в дом.

Господин вошел и в полчаса была заключена удивительная сделка: лучшая комната в доме, с балконом в сад, была сдана, и деньги, тут же и без просьб и торговли, были уплачены вперед за два месяца. Они уже лежали посередине стола, в обыкновенных банковых билетах. Комната же была снята для благородной английской дамы. Дама эта, по словам господина, была не очень молода, не так давно овдовела и была, во всех смыслах, совершенно одинока в Тяньцзине. Посещениями ее никто не будет тревожить. К сожалению, дама не может похвалиться прекрасным здоровьем, хотя, с другой стороны, ее нельзя назвать и больной – совсем напротив. Предвидя возможные и непредвиденные расходы, господин считал своим долгом сказать, что дама вполне располагает материальными средствами и все подобные расходы будут оплачены братом дамы, мистером Стоуном, который в настоящее время уже спешит из Англии, из Ливерпуля, в Китай. Мистер Стоун прибывает с единственной целью – ликвидировать коммерческие дела мистера Парриша – «Кожи и кости Туркестана». Дама – жена покойного мистера Парриша. Закончив ликвидацию дела, мистер Стоун, без сомнения, ликвидирует и все личные дела сестры. Он же – то есть пришедший господин – только партнер в фирме «Кожи и кости». Имени своего господин не назвал, да он и не держался на равной ноге в доме № 11. Нисколько. Он лишь считал своим долгом – своим исключительно христианским долгом – позаботиться о даме, вдруг оказавшейся в полном одиночестве. Тут господин слегка вздохнул и добавил, что дама еще недавно была совершенно очаровательной женщиной, но так как в этом мире все превратно, то изменилась и дама... Но все же он хочет надеяться, что переменится и это. Тут господин посмотрел на всех строго и просил запомнить, что с помещением дамы в пансион № 11 совершенно оканчивается его личное участие и заботы о даме. Он – только партнер фирмы и уезжает на лето. Его последним словом будет просьба оказывать даме возможно больше внимания. Она нуждается в постоянном внимании, будучи неустойчивой в неутешном

горе. На тревожные вопросы Бабушки господин ответил, что дама станет есть, что дадут, всегда будет всем довольна и в пансион прибудет к вечеру того же дня.

Он ушел, оставив на столе деньги. Бабушка в смущении смотрела на них. В ее кругу, в те прежние времена, никто не давал денег так – прямо на стол или в руки, как в лавке. Они передавались в конверте, незаметно. Но все же это были деньги, и как они были нужны!

Стали поспешно готовить комнату для дамы. Мать и Бабушка за работой высказывали всевозможные предположения о необыкновенном событии. Мадам Милица и маленький Дима старались помогать в работе и развивать тему разговора.

– Англичанка! – вслух и зловеще размышляла Милица. – Как этому верить? Настоящая благородная английская дама в русском пансионе, все ест и никуда не ходит! И заметьте, к ней тоже никто не ходит. Партнер спешит уехать на дачу, но брат торопится на место действия. Сумел снять комнату на два месяца, не назвав своей фамилии. Деловой человек всегда наслаждается своим именем. Как хотите, это – необыкновенное происшествие, и на дне его лежит тайна.

Всем стало не по себе, даже немного жутковато. Дима взял Бабушку за руку, чтоб, на всякий случай, быть к ней поближе.

– Не будем заглядывать в будущее, – умиротворяюще сказала Мать, Татьяна Алексеевна. – Может, и нет большой тайны. Ведь у нас нет доказательств...

– Доказательств? – Мадам Милица сверкнула глазами. – А деньги? И – Вы обратили внимание? – не за один, а за два месяца, и вперед. Я это вижу в первый раз в жизни. Честный человек избегает платить вперед. Много Вы видели авансов от квартирантов? А этот визитер разговаривает свысока, а деньги так и кидает на стол. Мне он даже на поклон не ответил. Сноб английский!

– Вы только отчасти правы, – заговорила Бабушка кротко. – Англичане, конечно, несколько снобы, но такими они бывают в чуждой для себя обстановке, в чужих краях, и особенно здесь, на Востоке. У себя дома они очень радушны. Я два раза была в Англии. Они там гостеприимны...

– Еще бы! – усмехнулась мадам Милица. – Там у Вас были деньги. Снобы исключительно гостеприимны к чужому богатству.

– А почему снобы знают, что у Бабушки сейчас нету денег? – спросил Дима.

– Детка, не будем осуждать людей, – ответила Бабушка.

В комнате стало тихо. Шуршали лишь щетки и тряпки. Дима старательно, пальчиком, вытирал пыль в рамки зеркала.

– Ах! – вдруг вскрикнула мадам Милица. – Я как-то подавлена всем случившимся. Мне нужен кофе, и сию же минуту.

– Там осталось в кофейнике, – с радостной готовностью откликнулась Бабушка. – Сейчас подогрею.

– Нет, – гордо возразила мадам Милица, – в такой момент мы не станем пить подогретого кофе. Заварим свежий, – и с благородным великодушием добавила: – Поставьте на стол четыре чашки.

В шестом часу вечера были привезены вещи миссис Парриш. Сундуки, чемоданы, ящики – все было наилучшего английского вида, солидное, богатое, прочное.

В семь часов, когда уже наступили сумерки, большой роскошный автомобиль остановился у калитки пансиона № 11. Дверца автомобиля быстро раскрылась. Первым появился огромный бульдог. Он вышел спокойно, с достоинством, не торопясь отошел в сторону и остановился у стены. Взгляд его был мрачен. Казалось, что он не одобрял происходившего. За ним из автомобиля проследовал господин, утренний посетитель. Затем выпрыгнул, словно выброшенный пружинкой, шофер, – и вдвоем они почти выволокли из автомобиля высокую, грузную

даму, которая сопротивлялась, отбивалась от них и кричала по-английски господину звонким, полным энергии голосом:

– Скотина! А-а-а! Куда вы меня тащите! Чудовище! Пустите! Дайте мне выйти самой! – И она легко выпрыгнула из автомобиля. Это была высокая, цветущая женщина с приятным, но несколько отекившим лицом. Прическа ее была сильно растрепана, падали шпильки, платье было помято и в беспорядке – и все же сразу всем было ясно и очевидно, что дама эта, миссис Парриш, была действительно настоящая английская леди. Самым удивительным в ней был голос: здоровый и свежий, он походил на голос хорошего мальчика.

На крыльце дома, в ожидании прибывшей, уже стояла живописная группа. Бабушка и Мать, в лучших своих платьях, приветливо улыбались и кланялись. Дима, только что начисто вымытый, с не просохшей еще мыльной пеной на висках, мячиком выкатился из дома. За ним, как луна, выплывала мадам Милица в ореоле своих черных кудрей.

Встреча и внедрение в пансион внорь прибывшей оказались трудной и сложной церемонией. Все были взаимно удивлены, все нервничали – и каждый по-своему. Мать и Бабушка старались не показать, как они шокированы. Господин старался не встречаться ни с кем глазами, – он смотрел то на небо, то на свои перчатки. Шофер крутился около миссис Парриш с видимым намерением подхватить ее, если она станет падать. От мадам Милицы исходили неясные восклицания и жаркие лучи любопытства. Красота собаки поразила Диму. Собака была мечтой его жизни. Одна только миссис Парриш, по-видимому, не испытывала никакого смущения. Покачиваясь в туфлях на очень высоких каблуках, из которых один был наполовину оторван, она подошла к крыльцу, с удивлением посмотрела на незнакомые лица – и вдруг широко и мило всем улыбнулась. Господин мигнул шоферу, чтобы воспользоваться благоприятным психологическим моментом и втащить даму на крыльцо. Но едва он коснулся ее руки, как миссис Парриш встрепенулась и закричала:

– Прочь, чудовище! Видели? – И широким жестом она указала на господина. – Он – мне угрожает! Пугает лечебницей, где в окнах решетки, если я не останусь здесь. Ха! Слыхали вы подобную дерзость?!

Она стояла перед крыльцом, высокая, почти величественная, полная благородного негодования.

– А что он говорит! Я качаюсь. Я не тверда на ногах! Смотрите – качаюсь я? – кричала она с вызовом. – Посмотрите сначала на меня, а потом на этого негодяя. Кто – пьян? Кому нужна лечебница? Кто из нас почти ненормален? Он меня тащит, он меня пугает, толкает – и это я почти... Тут я стою... так хорошо, твердо стою... – Она тряхнула головой, и ветерок легко взметнул вверх ее пушистые светлые волосы. – Вот я стою перед вами... а посмотрите на него – чего он боится? Несчастный облезлый болван. Ха! Лечебница – вот именно!

Миссис Парриш была совершенно пьяна. В этом не могло быть никакого сомнения. Спасая приличия, Бабушка выступила вперед и заговорила вежливо и мягко:

– Рада Вас видеть, миссис Парриш. Войдите, пожалуйста, в дом. Ваша комната готова. Мы ждали Вас. Я Вас проведу. Будете жить с нами... в простом семейном кругу. – Она взяла миссис Парриш под руку и, маленькая, хрупкая, осторожно повела ее вверх по ступенькам. Леди повиновалась. Господин замыкал шествие.

Дверь закрылась.

– Видали? – кратко спросила мадам Милица.

Татьяна Алексеевна с минуту стояла неподвижно.

«Деньги уже истрачены, – думала она. – За два месяца! Теперь уже нельзя ничем помочь. Когда будет очень трудно, надо помнить, что, благодаря ей, мы сразу заплатили почти все долги».

И она, вздохнув, пошла на кухню.

Наверху миссис Парриш уже бушевала. Падали вещи, хлопали двери. Ее голос покрывал все звуки. Он звонко разносился по всему дому, и ему отвечало радостное эхо, как будто веселая летняя буря, с громом и молнией, бушевала, запершись в ее комнате. Звонок непрерывно звонил, и китаец-слуга, как соломинка, гонимая ветром, летал вверх и вниз по лестнице. У калитки собралась кучка любопытных нищих. Бабушка появилась в окне, опуская штору. Японцы появлялись то тут, то там, как пузыри на воде, – и так же исчезали, спросив, как здоровье. Один мистер Сун не проявил никаких знаков интереса к происходящему.

Наконец все стихло. Слышен был лишь умиротворяющий голос Бабушки и громкие вздохи миссис Парриш. Господин, улучив минутку, покинул дом, ни с кем не простившись. Мадам Милица проводила его горящим взглядом и почувствовала, что она опять хочет кофе. Петя и Лида вернулись со службы и с изумлением слушали рассказ матери о событии дня.

Глава четвертая

Улеглись волнения. Семья готовилась ко сну.

Только в те дни, когда не все комнаты пансиона были сданы – и такие дни уже сами по себе являлись несчастьем, – каждый член семьи спал в постели. Обычно они оставляли только одну комнату для себя, самую худшую, имевшую мало шансов привлечь жильца. Она именовалась «столовой», так как случались и жильцы «со столом». В ней всегда стоял странный деревянный диван, несколько похожий на корабль, – тут спала Бабушка. Это была единственная постоянная постель Семьи. Все остальные должны были явиться как плод изобретения и воображения. Они всецело зависели от обстоятельств текущего момента. Иногда стулья связывались вместе: четыре – кровать для Димы; шесть – для Лиды. Петя, к сожалению, был довольно высок, и постель для него представляла трудную проблему. Летом он спал в гамаке, подвешенном к двум деревьям в саду. Мать спала на полу в коридоре, и мало кто знал об этом, так как она ложилась всегда после всех и утром просыпалась первой. Если у жильцов были гости и недоставало стульев, Димин матрасик расстилался под столом в кухне, на стол постилалась длинная скатерть, и Дима спал, как ангел, никому не мешая. Нет конца возможностям устроить себе постель, но все же это всегда легче сделать летом, чем зимой: летом они раздевались перед отходом ко сну, зимой же надо было одеваться – и потеплее. Еще пара носков, старая вязаная кофта, шарф на голову – все собиралось и распределялось между членами Семьи. Нужно ли говорить, что все эти детали жизни тщательно скрывались, насколько возможно, от постороннего глаза – и утром жильцов встречало радостное: «Доброе утро! Какой прекрасный начинается день».

Теперь был май, теплое время года, и была еще одна, не занятая жильцами комната, так что все постели готовы были в полчаса. Семья собралась за столом для «самой последней» – перед отходом ко сну – чашечки чая. Это всегда была лучшая минута дня. Свет погашен, и только лампадка мерцает перед иконой Владычицы «Взыскание погибших». Ее лицо печально и строго. Она казалась утомленной от своей тяжелой задачи, которой не предвиделось конца.

Туда, в этот угол, к этой иконе и к этой лампаде приносила Семья все свое горе. Каждый вечер, помолясь перед ней на коленях, Бабушка сама зажигала лампадку. Серебряная риза, отражая мерцающий свет, наполняла весь угол таинственным и мягким сиянием. От движения света и тени казалось, что лицо на иконе оживало, выражение менялось, как будто бы Владычица, следуя за молитвами Семьи, повторяла слова и давала ответы.

Эта старинная фамильная икона и была та «одна-единственная вещь», которую Семья вывезла из России. Она была звеном, связывающим Семью со многими поколениями колена-преклоненных предков, точно так же молившихся перед ней каждый вечер всю их длинную или короткую земную жизнь.

И сегодня горела лампада, своим мерцанием успокаивая волнения дня. Мир наполнял сердца. Чай был налит – и только тут заметили, что в комнате не было Димы.

А Дима был все там же, где он впервые увидел Собаку.

Собака, собственная собака, была мечтою Диминой маленькой жизни. Он не смел и думать приобрести ее, так как собаку нужно кормить. И вот самая отличная в мире собака стояла у стены во дворе! Постояв с полчаса, Собака медленно и с достоинством прошла к крыльцу и села на ступеньке. Она не обращала совершенно никакого внимания на окружающих. Она была выше того, чтобы, например, заметить присутствие Димы. А Дима стоял неподалеку и восторженными глазами созерцал Собаку. Он осмелился подойти ближе, даже сесть на другую ступеньку, подальше, чтобы движением своим или дыханием не обеспокоить Собаку. Как Дима жаждал, как ждал знаков взаимного интереса! Напрасно. Это была самодовольная, самодовлеющая собака. Что она знала о человеческом мире, о человеческих чув-

ствах и отношениях? Неизвестно. Но то, что было ее опытом, раз навсегда уронило человека в ее глазах. Она совсем не нуждалась в человеческой ласке. Пусть она позволяла Диме восторгаться собою, но сама ничем-ничем, даже малейшим движением кончика хвостика, не дала знать, что видит его и понимает. О чем думала Собака, конечно, трудно сказать, но в глазах ее угадывалось, что она презирает все, что не есть исключительно собачий мир, все нежные чувства, непостоянство человеческого характера, поведения, изменчивость и шаткость его дружбы. Но, странно, Собака чем-то сама походила на человека. Ближе всего она походила на банкира, какого-нибудь президента каких-нибудь банковских компаний, на дельца, который давным-давно понял, в чем дело, давно не имеет никаких иллюзий и совершенно презирает идею о возможности улучшения мира. Если бы только дать Собаке сигару, это сходство сделалось бы вполне законченным и совершенным.

Мать нашла Диму на крыльце в позе молчаливого восторженного созерцания. И только тут она сообразила, что и Собака будет жить в пансионе.

– Боже мой! – воскликнула Мать. – Какой это будет расход!

Глава пятая

Уже в шесть часов утра загремели звонки из комнаты миссис Парриш, и так как Кан, слуга-китаец, еще не пришел, Мать побежала наверх. Она нашла Миссис Парриш за столом перед бутылкой и двумя пустыми стаканами.

– Выпьем вместе! – сказала жилица, осветив комнату веселой, чудной улыбкой.

– О, еще очень рано! – поспешила отговориться Мать. – Мы не пьем алкоголя в такое раннее время.

– Не хотите виски – я налью Вам пива!

Мать из вежливости взяла свой стакан, поблагодарила, выпила глоток и ушла. Через несколько минут опять раздался оглушительный звонок. Японцы появлялись с вопросами о здоровье. Мать опять побежала наверх.

– Ну вот, теперь уже не так рано, выпьем вместе виски-сода, – сказала миссис Парриш с очаровательной улыбкой.

Так началась жизнь миссис Парриш в пансионе № 11. Она оказалась запойной пьяницей. Пока с ней был стакан и бутылка, ей ни до чего больше не было дела. Она весело бушевала половину дня, а затем спала беспробудно. Трудность заключалась в том, что она не разбирала ни дня, ни ночи, и ее звонкий голос часто в полночь пробуждал всю окрестность от сна. Приходили жаловаться. Соседи то смеялись, то ругались. Матери было трудно охранять достоинство пансиона.

Все заботы направлялись на то, чтоб помешать миссис Парриш покупать виски и, таким образом, вытрезвить ее. Но у нее было много денег, она хорошо давала на чай, и Кан немедленно стал ее рабом и послушным орудием. Уволить Кана было невозможно, так как Семья была должна ему жалованье уже за полгода. К тому же миссис Парриш распорядилась поставить телефон в ее комнате и просто заказывала ящик виски доставить на дом. Итак, несмотря на все уловки Семьи и на коварную помощь мадам Милицы, миссис Парриш пила как хотела.

Но и Семья привыкла бороться с трудностями жизни. И Семья не сдавала позиций, и, в некотором смысле, миссис Парриш не было никакой пощады. Ее почти не оставляли одну, отвлекая от бутылки. Миссис Парриш любила разговор и общество, и кое-что Семье удавалось. Каждый из них подходил к жилице индивидуально, пробуя на ней свои таланты.

Однажды – это была очередь Лиды – глубокой ночью забушевали звонки из комнаты миссис Парриш и зазвучал ее голос, приглашая всех в гости. Лида робко вошла в ее комнату. Но, посмотрев на нее, набралась храбрости и предложила:

– Давайте споем что-нибудь дуэтом.

Эта идея сразу понравилась миссис Парриш.

– Вы лягте в постель, я сяду около Вас на этом стуле, – предложила Лида.

– Давно я не пела, – заволновалась миссис Парриш, – кажется, с самого детства. Давайте споем из «Травиаты»? А? «Налейте, налейте бокалы полнее...» Я – за Альфреда, Вы – Виолетта.

И они пели полчаса одно и то же, все тише, все реже. У Лиды был прекрасный голос, и она старалась изо всех сил. Миссис Парриш стала засыпать и вскоре сладко заснула. Лида тихонько и заботливо укрыла ее одеялом, перекрестила с молитвой и на цыпочках ушла из комнаты.

В другой раз, днем, мадам Милица пришла успокаивать миссис Парриш. Она подошла к столу, за которым пила миссис Парриш, вынула из колоды три карты наугад, бросила их на стол и сказала:

– Эта комбинация карт означает пожар.

Но ее английский был плох. Вместо «fire» – пожар, она сказала «wige» – проволока.

– Миссис Парриш вдруг страшно рассердилась.

– Проволока? Какая проволока? – Она огляделась, помахала рукой вокруг себя. – Какая проволока? Что Вы меня дурачите? Вон отсюда!

Мадам Милица с достоинством направилась к выходу:

– Я имела в виду комбинацию карт. Гадание. Моя профессия – узнавать чужую судьбу.

Что-то дошло до сознания миссис Парриш.

– У Вас есть карты? Сыграем в покер..

Мадам Милица вздрогнула от негодования.

– Это – другие карты. Это – символы по происхождению из Вавилона. Чтобы найти их, человечество жило тысячелетия. Видите – это Луна, или Нина, покровительница Ниневии. И Вы хотите ею играть в покер.

– Ну, не надо, – легко согласилась миссис Парриш. – Но что мы с ней будем делать?

День был жаркий. Растрепанная, потная, грузная, миссис Парриш имела жалкий вид. Милица посмотрела на нее критическим оком и предложила:

– Мы сядем здесь, в тени, у окна. Как появится какой пешеход, бросим на его судьбу карты – и узнаем, что его ждет.

Миссис Парриш пришла в восторг от этой идеи.

Мадам Милица раскинула карты на рикшу, стоявшего на углу.

– Этот рикша беден и болен. У него нет друзей. Интриги, донос. Я даже вижу тюрьму и голодную смерть...

– Боже, как страшно! – закричала миссис Парриш и, наклонившись низко из окна, позвала – Рикша! Рикша!

Ветер играл ее пушистыми волосами, лица ее не было видно.

– Рикша! Сюда! – И она бросила рикше серебряный доллар, крича: – Рикша, у тебя нет друзей! Какая жалость!

В промежутках, между рикшами и пешеходами, мадам Милица повествовала об историческом развитии и прошлом величии гадальной профессии и горько оплакивала ее угасание. Что из этого поняла миссис Парриш, сказать трудно. Английский язык Милицы был плох, более того – фантастичен, к тому же у нее была склонность к торжественности в слоге. Однако же при известии о скорой гибели профессии миссис Парриш сильно огорчилась:

– Какая жалость, мистер Парриш не дожил, чтобы услышать об этом. Он бы сейчас же основал какое-нибудь акционерное общество, и все были бы счастливы.

Однажды в праздник миссис Парриш особенно буйствовала. Соседи посылали прислугу с просьбой, чтобы шум прекратили. Японцы стояли кучками в саду, глядя вверх, на балкон миссис Парриш, и высказывая предположение, что она не очень здорова. Милица не могла даже пить кофе. Мистер Сун не сказал ничего, просто ушел из дома. Бабушка была в церкви. Лида ушла плавать. Это была Петина очередь успокаивать миссис Парриш.

– Миссис Парриш, – обратился он к ней, – не поможете ли Вы мне с крестословицей?²

При слове «крестословица» она встрепенулась, и в глазах ее засверкали слезы.

– Покажите ее мне! Дайте ее сюда! О, милая! – сказала она крестословице, а потом объяснила Пете: – Покойный мистер Парриш, – и слезы потекли из ее глаз, – как бывали неудачи или затруднения в делах, сядет, бывало, за крестословицу и сидит час-два. Успокоится и что-нибудь придумает. Он всегда имел успех во всем, во всех делах. О, мы жили так легко, так весело...

– Не плачьте, миссис Парриш, – сказал Петя тихо. – Мистер Парриш в лучшем мире и...

– И Вы верите в это? – удивилась она. – Как же Вы наивны! Самое слово «смерть» значит уничтожение. Полное уничтожение. Потому я так легко и перенесла его смерть. Мистера Парриша больше нет. Нет нигде. Да если бы на одну только минуту представить, что он существует

² Крестовица – кроссворд.

где-то и что-то таинственное случается с ним... что он видит меня, как я сейчас здесь сижу... да это просто невыносимо. Уходите отсюда! Вон с Вашей крестословицей!.. Впрочем, стойте, сначала выпьем, а потом я Вас выгоню.

Но все же Петя уговорил ее, и они до обеда сидели над крестословицей.

Даже Дима был призван к участию в усмирении миссис Парриш. Он явился с коробочкой показать ей свою коллекцию марок.

– Это – из Канады.

– Канада! Я была там. Выбрось сейчас же эту марку. Канада мне не понравилась.

– Это из Советской России: редкая марка.

– И ты держишь ее? Дай сюда! – И она разорвала Димино сокровище. Скрывая слезы, он ползал по полу, собирая кусочки и закаляя свое сердце для жестокого плана, как расквитаться с миссис Парриш за это ее преступление.

Но главной страдальцей, главной жертвой и самым частым посетителем миссис Парриш была Бабушка. Миссис Парриш, так сказать, всем своим большим и грузным телом оперлась на хрупкое плечико Бабушки и там покоилась.

Глава шестая

Дима всегда чувствовал себя вполне удовлетворенным жизнью, но с водворением в доме миссис Парриш он потерял душевное равновесие. Из-за Собаки, из-за ее равнодушия, даже пренебрежения к нему.

Дима принимал за должное, что все в Семье нежно его любили, что он нравился всем жильцам и всем соседям. Мир был до некоторой степени обязан относиться к Диме с симпатией и немножко баловать его. Но вот на горизонте его жизни появилось индифферентное к нему существо. Бульдог. Чистейшей породы. Аристократ в мире собак. У него была своя, отдельная и таинственная жизнь. Он стоял выше всех жалких Диминых попыток заинтересовать сноба собой. Между ними уже установились такие унижительные для Димы отношения. Что бы ни делал Дима, Собака не снисходила до того, чтоб Диму заметить. Никто не слышал голоса Собаки. Она не снисходила до того, чтоб в этом доме по-собачьи залаять.

«Так что же? – горько размышлял Дима, – залезут воры, станут красть у нас все и нас поубивают, а он даже не гавкнет! Совсем, совсем он нас не любит!»

И все же целые дни они проводили вместе. Дима не решался притронуться к Собаке. Он сидел в двух шагах напротив, не спуская с нее восторженных глаз. Ей варился отдельный обед, так как миссис Парриш выдавала на это отдельные деньги. Собака каждый день ела мясо, и Дима сам мыл чашку до и после еды. Ничто не помогало. Интерес был односторонний, без проблеска надежды на взаимность. Тогда Дима стал молиться Богу и к вечерним молитвам тайно прибавлял: «Господи, пошли, чтобы Собака сделалась моя и чтобы она меня любила», – и он клал три земных поклона. Но и это не помогало.

Дима старательно собирал сведения о Собаке, и каково было его изумленное негодование, когда он узнал, что у Собаки не было имени. Для миссис Парриш это был просто Дог, то есть Собака. Кто-то из друзей, уезжая за океан, оставил собаку мистеру Парришу. Это было за несколько дней до его смерти, и к Собаке не успели привыкнуть. «Тут она? – спросила миссис Парриш. – Кормите ее», – и она дала денег. Потом добавила: «Не пускайте ее в мою комнату».

Но Собака и не делала никаких попыток войти к миссис Парриш. Если бы и состоялся этот визит, то вопрос, кто и кому сделал бы этим одолжение.

От изобилия мыслей и полноты переживаний по поводу Собаки Дима начал вести дневник. Он умел немножко писать. Он хранил записную книжечку в кармане штанишек, а на ночь клал под подушку. Ежедневно находилось что-нибудь записать о Собаке, и с какой радостью он записал однажды: «Собака не любит своей хозяйки». Это наблюдение – миссис Парриш ходила по саду, а Собака не сделала ни одного движения, чтобы подойти к ней, – сделалось отправным пунктом Диминых планов. Он готовился к решительным действиям. Он замышлял нападение на миссис Парриш.

Но для выполнения замысла нужно было сперва заручиться хотя бы некоторым содействием Собаки. И – о чудо! – медленно-медленно, но все же если и не привязанность, не дружба, то понимание начало устанавливаться между Собакой и Димой. Дрогнула твердыня Собакиной гордости, пошатнулась ее крепость и, под теплотой Диминых глаз, стала тихо таять, капля за каплей. И пришел наконец великий момент: Собака проявила свои настоящие чувства.

Был жаркий полдень. Все, кто мог, отдыхали, спали, потому что в жарком Китае – это обычай. Вокруг царила тяжелая, почти весомая тишина. Изредка только из кухни доносились слабые звуки это – Мать мыла посуду. На углу неподвижны, как статуи, два-три рикши сидели, ожидая случайного пассажира. Эти часы – жаркие, медленные, беззвучные, душные – символ самого Китая. Жизнь интенсивная и таинственная идет где-то, за покровом тишины и бездействия. Но какая она? В чем она? Ее содержание ускользывает от поверхностного наблюдения.

Знать Китай? Понимать его? Для этого надо жить с народом и знать его язык. Не многим приходит эта охота. Чтобы изучить язык надо потратить лет десять. У кого есть на это время? И иностранец, живя в Китае, остается вполне чуждым элементом. Однако же и он подпадает под влияние Китая. Взять, например, время. Оно движется там плавно и медленно. И дни, и ночи куда длиннее, чем где-либо еще на земном шаре. Там кажется, что время – ложный критерий для измерения человеческой жизни. Что он измеряет? Минуты, часы, дни и годы, не жизнь. Прилагаемый жизни этот критерий приводит к ложным заключениям. Не важно, как долго жить, важно – как жить. Китай существует под знаком долголетия. Связанный с культом почитания предков и необходимостью иметь потомков, китаец живет, по крайней мере, в трех-четырех поколениях, как бабочка, имеющая, в разных стадиях, четыре жизни. Зачем торопиться, когда принадлежишь вечности. Куда спешить, если ты все равно движешься только к нею? Надо покоиться в ней. Отсюда безмолвные часы китайского отдыха.

В такой торжественной атмосфере покоя и отдыха во дворе бодрствовали только Дима и Собака. Они сидели друг против друга на ступеньках крыльца, Дима – с выражением восторга на лице, Собака – с брезгливой миной, но все же изредка косила внимательный глаз на мальчика. За любующимся Собакой невинным взглядом Димы уже крылся план порабощения Собаки. Наступал момент испытания.

Дима встал, сделал несколько медленных шагов в сторону и свистнул – как обыкновенно свистят собакам, приглашая их следовать. Дима осмелился. Собака вздрогнула от неожиданности и негодования. Но – о чудо! – велика сила атавизма, едва заметные складки, как мелкие волны, пробежали по ее коже. Дима свистнул опять. Как в гипнозе, Собака привстала, поколебалась один момент, опустила гордую голову и медленно, неохотно, но все же последовала за Димой.

Победа! Победа! Это была открытая декларация новых отношений. От этого шага Собаке уж не было больше возврата. Восторжествовала традиция, и, хотя и гордая, и такая высокоаристократическая, такая хорошо упитанная, Собака заняла свое должное, отведенное ей историей место – подчинение человеку.

Теперь был подходящий момент для нападения на миссис Парриш. Надо было узаконить сделку. Перед всем миром объявить Собаку своей.

Дима незаметно проскользнул к комнате наверху и с бьющимся сердцем стоял, прислушиваясь у двери. Она не спала. Слышно было какое-то брызгливое бормотание.

Дима распахнул дверь.

– Мадам! – сказал он. – Вы поступили со мною нечестно!

Миссис Парриш полулежала в кресле. Ее голова была в тумане.

Опухшее лицо, красные глаза, дрожащие губы могли бы внушить жалость. Но Дима закалил свое сердце. Он решил переступить через всякое препятствие.

– Стыдно так обижать ребенка, мадам!

Но она его как будто и не слышала. Она только повернула к нему голову и смотрела на него пустыми глазами. Вся ее голова начала дрожать.

Дима подошел ближе, к самому креслу, и заговорил уже тише, убедительным тоном:

– Так жить больше нельзя! (Он часто слышал эти слова от взрослых.) Вы разорвали мою лучшую марку. Ее уже нельзя было склеить. Вы обесценили мою коллекцию. И Вы ничего мне не дали взамен. Посмотрите, я – маленький мальчик: Вы – большая дама. Вы меня мучите и обижаете. Детей надо беречь и любить. Знаете, лучше вознаградите меня за марку, а то я что-нибудь ужасное придумаю и Вам сделаю. Вы просто погибнете!

Она смотрела на дитя с далекого-далекого расстояния. Какой славенький мальчик! Он кулачком погрозил ей, а потом этим же кулачком вытер свой носик. Все качалось и плыло перед ее глазами: стены, окна, мебель и мальчик. Мальчик почему-то сердится и наступает на нее.

– Чего ты хочешь? – спросила она наконец.

- Собаку.
- Какую собаку?
- Вашу собаку.
- У меня есть собака?
- Да. У Вас есть собака.
- Где она?

Дима побежал вниз, посвистал, и Собака явилась. Они вместе вошли в комнату миссис Парриш. Но пока Дима отсутствовал, она опять впала в свой полусон и плыла в тумане. Сердце Димы билось, он чувствовал, что продвигается к цели. Собака стояла брезгливо и безучастно посередине комнаты.

- Вот Собака, – сказал Дима и тихонько подергал миссис Парриш за рукав.
- Уведи ее вон, – сказала она, не открывая глаз.

Дима потоптался на месте, постучал кулачком о кресло. Нет ответа. Собака хрипнула что-то и легла на пол. Дима взял стакан и стал стучать им о бутылку. На этот звук миссис Парриш открыла глаза. Опять этот мальчик маячил перед нею.

- Чего ты хочешь? – крикнула миссис Парриш. – Знаешь, уйди вон!
- Я уйду, если Вы подпишете эту бумагу.

И он вынул из кармана давно заготовленный документ, написанный – с большим усердием – заглавными буквами:

«Я, миссис Парриш, отдаю Собаку в вечную собственность Диме (мальчику), навсегда и навеки, потому что он милый мальчик, и еще из-за марки. Я даю перед всем миром самое честное слово – никогда, никогда, никогда не требовать мою Собаку обратно, потому что это его собака. Клянусь. Во веки веков. Аминь».

Брюзжа, не читая документа, миссис Парриш подписала крупным величественным почерком свое имя.

- Теперь пошел вон. Уведи собаку!

Но оставалось еще кое-что. Дима подошел ближе, он приблизил свое личико к уху миссис Парриш и зашептал умоляюще:

- Но это Вы будете кормить Собаку? Да?
- Буду, буду! – уже кричала миссис Парриш. – Кто здесь? Где вы? Дайте мне что-нибудь! Помогите мне! Оставьте меня в покое! Вон! Вон!

Но Дима уже шариком катился вниз, только ступеньки трещали. За ним медленно следовала Собака – и глубокое презрение к человеческим махинациям и сделкам исходило от нее. А Бабушка, задыхаясь, уже бежала вверх по ступенькам в комнату миссис Парриш.

Глава седьмая

Наступило лето, и с ним fu-tien, то есть «низкое небо», ужасная мокрая жара. Лето 1937 года было особенно тяжким. Тот, кто мог, давно уехал на север, из оставшегося населения города половина болела. Миссис Парриш пила, бушевала, бранилась, рыдала. Вскоре выяснилось, что она стала опасной.

Как-то раз, проведя несколько часов в ее комнате, Бабушка успокоила миссис Парриш и оставила ее спящей. Едва живая от усталости, она спустилась в сад. Мадам Милица встретила ее с распростертыми объятиями. Кофе был уже на столе. Аромат кофе предвещал монолог Милицы и отдых для Бабушки. Вдруг грянул звонок, и Кан ринулся вверх по лестнице. Через минуту он был внизу, с лицом, перекошенным от испуга. Больше пантомимой, чем словами, он сообщил, что английская леди собралась умирать.

Вся дрожа, спотыкаясь, побежала Бабушка наверх, крича: «Я иду! Я иду! Подождите!»

Мадам Милица бросилась за ней, схватив для чего-то стоявшую поблизости садовую лопату. Все кудри ее дрожали. Она тоже бежала и кричала вслед Бабушке: «Не ходите одна! Подождите меня!»

Когда Бабушка открыла дверь, она увидела такую картину: миссис Парриш дремала на полу, возле опрокинутого кресла. Большой, блестящий черный револьвер лежал около. Бабушка нагнулась и схватила револьвер. От прикосновения ее дрожащей руки миссис Парриш проснулась. Она открыла свои милые голубые глаза и сказала приветливо:

– Здравствуйте, Бабушка!

Вечером револьвер лежал в столовой на столе, и Семья обсуждала положение. Мадам Милица также пришла на совет. Решено было призвать доктора. Но кто и чем будет платить?

– Раз нет денег, то надо позвать доктора Айзика, – разрешила задачу мадам Милица.

Доктор Айзик был замечательной личностью, фантастический продукт фантастической эпохи. Он родился в России, но родители его были подданными Германии. Во время мировой войны доктор сражался против Германии на стороне России. После революции в России он бежал в Германию и взял германское подданство. Когда Гитлер пришел к власти и стал преследовать евреев, доктор Айзик попал в число преследуемых, ибо не только его отец был евреем, но и его жена Роза была еврейкой. Они бежали в Китай. И вот, ни русский подданный, ни германский, доктор Айзик не имел паспорта. Только Китай, великий в своей терпимости к чуждым народам и расам, мог дать ему возможность жить и работать на свободе без паспорта.

И все же в такой тяжелой и беспокойной жизни доктор Айзик никогда не переставал работать. Он был не только замечательным хирургом, но также и большим авторитетом по мозговым и нервным болезням. Он имел необычайную способность работать и изумительную выносливость. Его доброта к человеку была беспредельна. Все эти качества ему были очень нужны в семейной жизни. Жена Роза была для него большим испытанием. И она была когда-то молода, добра и прекрасна и первые удары судьбы встретила с героической улыбкой. Но потом как-то вдруг опустилась. Все, что было очаровательно в ней, вдруг сошло, как наспех положенная лакировка, и она осталась доктору, как природа задумала ее – слезливая, ворчливая, жадная, злая, трусливая и всегда всем недовольная. Роза сделалась главным несчастьем докторской жизни.

Они были ужасно бедны.

Роза не могла добиться, чтобы он смотрел на деньги как на нечто тесно связанное, переплетающееся с каждым движением в его профессии. Он работал, потому что любил и жалел человека. Роза считала это последней глупостью. Как? – ни преследования, ни нищета, ни клевета, ни тюрьма – и все это: за что? – не могли излечить его от сумасшедшей идеи, что человек, по своей природе, и хорош, и добр? И это он – доктор? И это он лечит человека и его мозг?

Вам не смешно? Таких идеалистов надо прятать куда-нибудь на чердаки или в подвалы, чтобы они не разносили заразы. А он ходит и лечит. Ходячее безумие! Ему никто не платит. И он, конечно, не просит: Зачем? Пусть собственная жена умрет с голоду, ходит в рваных ботинках. Когда она была в последний раз в театре? Он помнит, когда ее именины? Он помнит миллион фактов, но только, конечно, не этот. Два биллиона людей на свете – и он всех жалеет, исключая свою жену. Нет, что она сделала, чтобы быть наказанной таким мужем? Нет, она лучше умрет – и скоро-скоро. Тогда откроются его глаза, но будет поздно.

Действительно, отношение доктора к деньгам вызвало бы негодование всякого практического человека. Гонораров он не просил, и ему не давали – и ни у него, ни у жены никогда не было наличных денет. Жили в долг. Положение часто становилось нестерпимым. Роза отвечала истерикой на всякое слово, даже на «доброе утро» – во всем видя насмешку. «Доброе утро! Вы сказали “доброе”?!»

Переполюнялась чаша терпения. Доктор мрачнел. Он просил сообщить ему точную сумму долгов. Проверял итог, не доверяя Розе. И затем спрашивал именно эту сумму – ни больше ни меньше, – с первого же богатого пациента, и вперед, иначе отказывался лечить. Ему давали деньги, он платил долги – и начиналась прежняя жизнь.

Этот доктор и был приглашен к миссис Парриш. Он сказал, что ее лучше бы поместить в госпиталь. Но она отказалась идти, а он не хотел настаивать. Семья не решалась выселять даму, уплатившую вперед и еще не отжившую своих денег. Брат миссис Парриш должен был приехать недели через три. Решили оставить все как было. Даже Милица говорила, что нечего ездить по госпиталю, лучше не будет. Семья же как-то сжилась с миссис Парриш, с ее буйством. Именно этого как будто бы в доме № 11 еще недоставало. Теперь же, по словам той же Милицы, составилась «полный комплект».

Решили приставить Бабушку в неразлучные спутницы и собеседницы к англичанке. Доктор дал нужные инструкции. Бабушка, кланяясь, проводила его до калитки и только там сказала:

– Многоуважаемый доктор, у нас нет денег в настоящее время. Миссис Парриш отказалась Вам заплатить, так как она совсем не хотела доктора. Но приедет ее брат – и с большой благодарностью гонорар Ваш будет уплачен. А сейчас извините, пожалуйста. – И она еще раз поклонилась.

– Деньги и деньги! – воскликнул доктор. – Кто говорит о деньгах и кому они нужны?! Но вот что: мне как-то все понравилось у Вас. Могу я просить Вас, Бабушка, познакомиться с моей женой? Роза очень одинока. Она бы приезжала к Вам в гости. А? У Розы нет друзей, а с Вами, Бабушка, ей было бы хорошо.

– Буду очень рада. Будем ждать вашу супругу. Всегда с удовольствием...

– И не только на минутку. Роза – нервная и всем всегда недовольна; я видел, как Вы обращаетесь с этой англичанкой наверху, и я подумал: вот если бы и Розе такую Бабушку!

– Все, все, что зависит от меня, доктор. Просим только извинить нашу бедность.

На следующий день ровно в четыре часа задыхающийся рикша прикатил к калитке дома № 11 толстую даму. При расплате между ними произошла внезапная ссора. Оба кричали. Она угрожала полицией, он проклинал ее предков. Не понимая по-китайски, дама все же угадывала смысл его речи и – в отместку – прокляла его потомство до седьмого колена и заодно уж и свою собственную жизнь от дня рождения. Рикша оскалил зубы. Дама нацелилась и хотела его ударить зонтиком. Рикша завыл, как будто бы уже ударенный. Пешеходы стали собираться к месту действия. Рикши, не имевшие пассажиров, мчались на защиту собрата. Видя поддержку, рикша схватил даму за платье и не пускал ее в калитку. Он громко взывал ко всем элементам земли и неба быть свидетелями, что дама дает ему только половину установленной платы.

– Ты ехал медленно! – кричала дама. – Из-за этого я опоздала. Мое время – деньги. Я понесла убыток!

– Ты вдвое тяжелее обыкновенной дамы, – кричал рикша, – я бежал поэтому вдвое медленней.

Наконец, в гневе, дама бросила рикше прямо в лицо пять центов, а он сказал ей в заключение:

– Ты ешь слишком много риса.

Этим закончилась сцена, и пешеходы стали расходиться.

На крыльце дома № 11, привлеченные шумом и криками, стояли Мать, Бабушка, мадам Милица, несколько японских джентльменов, Дима и Собака. Дама подошла и торжественно представилась всем:

– Здравствуйте. Это – я, мадам Роза Айзик.

– О, рады Вас видеть! – заторопилась Бабушка. – Рады познакомиться. Это – моя дочь, Татьяна Алексеевна. Это наш друг и жилица, мадам Милица из Бессарабии.

– Это она пьет?

– О нет, – заторопилась Мать, – пьет другая наша жилица. – И она вся вспыхнула от неловкости, что и как она сказала. – Я хочу сказать, что мадам Милица совсем не пьет. – И Мать еще больше покраснела, видя, как неудачно поправилась.

– Но Вы мне покажите и пьяницу тоже, – настаивала Роза. – У вас, вижу, живет аховая публика. – И она покосилась на широко улыбающихся японцев. – И эти – ваши? А чей это мальчишка? Пьяницын? Тогда у него будет наследственная склонность к алкоголю. Обязательно. И что за паршивая собака! Сидит и слюну пускает. Ну, вот еще и китаец лезет сюда! – приветствовала она входящего во двор корректного мистера Суна. – И он живет тут! Скажите, где же вы сами помещаетесь?

Но через полчаса притихшая, загипнотизированная Роза сидела наедине с мадам Милицей. Розу как-то огорошила мысль, что ни разу, за всю свою долгую жизнь, она не догадалась сходить к гадалке. И вот гадалка была здесь. На столе лежали странные, доселе невиданные карты. На первый раз вердикт мадам Милицы был краток: «ни пожеланий, ни исполнений», как будто бы Судьба уже истратила все, что полагалось, на Розу и перестала ею интересоваться. Однако же Роза сделалась частым гостем в доме № 11, и всякий раз, как приходила, гадала, чтобы узнать, нет ли для нее чего нового. Что предсказывали ей карты – посторонним осталось неизвестно, но в Розе начала происходить перемена. На лице у нее теперь играла загадочная улыбка, она как бы знала что-то интересное, но не собирались ни с кем делиться этим секретом. Вообще же ее беседа носила оживленный, но однообразный характер.

– Как Вам нравится жить в Китае? – спросила Мать.

– Не говорите мне о Китае. Не произносите мне это слово. Хорошее землетрясение я б пожелала Китаю!

– Вам больше нравится Европа?

– Европа? Вы сказали Европа? Кому, какому чудовищу может нравиться Европа? Дым и пепел пусть лягут на том месте, где Германия. И с ней же пусть провалится Австрия.

– Вы были во Франции?

– Скажите, кто это не был во Франции? Франция – это один большой ресторан. Войдите, если у вас есть деньги, – и вы выйдете оттуда уже без денег. Во Франции оберут. Дочиста. А потом еще высмеют вас, поиздеваются над вами. Только умственно недоразвитые люди еще ездят во Францию, те, кто не понимает, что с ними происходит. А грязь! А дороговизна!

– Говорят, в Голландии чисто, – старалась Мать, желая найти хоть что-нибудь хорошее в мире.

– А, Вы видели их королеву? Нет, можно ли иметь королеву с таким обыкновенным, ничего не выражающим лицом? Уму непостижимо!

– Вы все-таки много путешествовали...

– Вы это называете «путешествием»? Благодарю Вас.

Глава восьмая

Неподготовленный Китай приближался к трагическому лету 1937 года. Вспышки военных действий между Китаем и Японией уже гремели на севере.

«Азия для азиатов, – возвещала официальная японская печать. – Мы освобождаем дорогой нам Китай от европейского ига».

Но Китай не верил в бескорыстие этих намерений и сопротивлялся вхождению японских армий на свою территорию. Не мало свежих могил вырыто было на китайских полях; не мало урн с еще теплым пеплом отправлялось японским родителям. Желтолицые матери проливали горячие слезы. Но для иностранцев в Китае все эти события не имели непосредственной важности или особого интереса. Вопрос был лишь в том, как далеко от города идет битва и в какой мере неудобства могут коснуться европейских концессий: то есть подвезут ли свежие фрукты, можно ли будет в пятницу играть в гольф за городом, освобождена ли от войск автомобильная дорога для прогулки в Пекин. Законом экстерриториальности европеец был огражден от бедствий Китая. Война эта казалась ему как бы кинематографическим фильмом, разыгрываемым на открытом воздухе. Не больше.

И Семья не очень была озабочена слухами о приближающейся войне. Да и о чем волноваться? Они не могли отвлечь текущих событий или влиять на их ход. У них также не было недвижимой собственности, нуждающейся в защите; ни драгоценностей, которые надо в таких случаях прятать; ни денег, чтобы купить железнодорожные билеты и уехать; ни визы, дающей возможность искать спасения в иной стране, – так о чем же тут и беспокоиться, если к событиям они не имели никакого отношения?

Болезнь Димы явилась началом тяжелого периода в жизни Семьи. В городе началась эпидемия желудочных болезней; и Дима заболел одним из первых. За пять дней он так ослабел, так изменился, что Семья трепетала от страха. Бабушка не отходила от Диминой постели. Доктор Айзик приезжал два раза в день и даже привозил с собою другого доктора, специалиста по болезням европейцев в Китае. Дом № 11 сделался мрачен и тих. Мать, как обычно, весь день работала. Что бы ни случилось, хозяйка пансиона не имеет времени для личных переживаний. Лида прибегала в неурочное время с работы, и один взгляд на лицо Матери делал излишним вопрос о здоровье Димы. Даже Петя, всегда сдержанный и молчаливый, почти ежечасно звонил по телефону, и миссис Парриш, в чьей комнате был телефон, тем самым втянулась в вихрь событий. Странно, она вдруг бросила пить и все бегала вверх и вниз по лестнице – от столовой до своей комнаты, прыгая через ступеньки так же легко и грациозно, как это делал Кан. Мистер Сун дважды в день справлялся, как здоровье «молодой надежды семьи». Японцы стояли гуськом в коридоре – не то шесть, не то пять, – ожидая выхода доктора и вдруг начиная качать головами и страшно шипеть при его появлении. Роза прикатила на рикше сказать:

– Перемените доктора. Кому вы поручили ребенка? Вы не знаете, что Айзик давно сошел с ума? – и на протест Бабушки начинала кричать: – Ну, да! Он знаменит по нервным болезням. Сам болен, потому и понимает, отчего другой стал сумасшедшим. Но поручить ему просто ребенка! Вы мне делаете смешно!

Милица не раз решительно схватывала колоду карт, чтобы погадать на «молодого короля» – и всякий раз, вдруг помрачнев, откладывала ее, не раскрыв, в сторону. Кан стал необыкновенно работоспособным и, без всяких просьб, вдруг вычистил двор.

Среди всего этого Бабушка одна сохраняла неторопливость и полное внешнее спокойствие. Чем больше была опасность, тем спокойнее она становилась. Не спав несколько ночей подряд, она была светла лицом, только голос ее звучал все тише и тише.

Дима, бедняжка Дима, лежал на диване без сознания и бредил. Когда он начинал метаться, из-под дивана раздавался тихий, жалобный вой. Там страдала Собака. Там она лежала в агонии страха за Диму. Собака отказывалась от пищи.

Бедная Собака! Мрачная в начале Диминой болезни, но все же сохранявшая еще некоторый высокомерный вид, она превратилась теперь в жалкий, дрожащий комок под диваном. Умирал ее хозяин, этот мальчик, с которым она играла, который рассказывал ей все свои тайны и ничего не предпринимал без ее совета. Умирала половина ее мира, ее существа. И Собака сама готовилась к смерти. Она не желала пережить своей потери. Она отказалась от пищи.

Всякий раз, когда Дима приходил в сознание и открывал глаза, он видел милое лицо Бабушки, склоненное над собой. Лицо это не было ни испуганным, ни печальным. Нет, оно было только тихое, приветливое и спокойное-спокойное. Это Лида рыдала за стенкой. Это Мать роняла кастрюльки. Бабушка же тихо говорила:

– Посмотри, Дима, на Собаку. Она ждет, когда ты встанешь, чтобы пойти с тобой играть.

Собака выползала из-под дивана и смотрела на Диму слезящимися умоляющими глазами. Она хотела бы лизнуть его руку, но Бабушка этого не позволяла.

Как-то миссис Парриш стояла в столовой, и случилось, что именно при ней Дима спросил в полусознании:

– Почему не кричит миссис Парриш? Она уже не пьяная?

Но вдруг Дима стал поправляться. Какой вздох облегчения был слышен в доме № 11! Какая радость, когда впервые – топ-топ! – зашагали его слабые ножки по полу! Как осторожно шагала за ним Собака! И какой у обоих был аппетит!

Бабушка назначила Диме особо молиться каждый вечер и класть три поклона, благодаря Бога за жизнь и выздоровление. Его ножки и колени были слабы, они дрожали, Дима шатался. Но Бабушка была тут и поддерживала Диму. Собака не понимала, в чем дело, почему мальчик падает и лежит на полу, его поднимают, но он опять должен упасть. Она крутилась около, слегка подвывала. А когда все кончалось, довольная, усаживалась около дивана.

– Бабушка, – сказал как-то Дима, – научи Собаку молиться. Нам будет веселее вдвоем бить поклоны.

– Дима, не говори глупостей.

– Бабушка, а как ты угадываешь, что глупости и что не глупости?

– Спи, Дима, спи! – И она целовала его, перекрестив, – Спи!

Дима спал теперь в незанятой жильцами комнате. Как много там было воздуха и как это хорошо для легких!

А в столовой Лида просила:

– Мама, могу я петь? Дима поправился, и все так хорошо.

– Пой, но потихоньку.

– Петя, споем вместе! Ну почему ты всегда такой спокойный молчаливый? Давай споем дуэтом что-нибудь нежное-нежное.

В столовой было темно. Лампада чуть мерцала перед иконой. Луч уличного фонаря освещал один угол, и, став в ореоле этого света, Лида начала чудным сопрано, высоким и чистым:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей...

И Петя поднял свою опущенную голову, тоже встал и запел баритоном:

Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней.

Бабушка вошла и остановилась на пороге.
– Семья! Все, что осталось! Но все вместе!
А Мать тихонько шептала для себя слова романса:

...Уж я не верю увереньям...

Все члены Семьи страстно любили музыку. Когда-то и Бабушка пела и славилась игрою на арфе. У Матери в юности был прекрасный рояль. И она чудно пела. Но эти двое – Петя и Лида – не имели уже ничего. Они пели без аккомпанемента.

Глава девятая

Мадам Милица, отложившая было свою поездку из-за болезни Димы, начала укладываться.

Двадцать пятого июля она попрощалась с Семейей. Вещей у нее было – сундук и мешок. Обе эти вещи были необыкновенной наружности, сделанные, по-видимому, лет сто назад в какой-то далекой и малоизвестной стране, где не было машинного производства. Как ни странен был сундук – длинный и узкий, с блестящими на темном дереве медными инкрустациями, представляющими символы: пики, червы, трефы, бубны, – мешок был еще удивительнее. Он был величиной с Милицу, глубокий, как колодец. Искусная вышивка заполняла весь фронт мешка. Коричневый лев бежал по пустыне, за ним едва поспевал голубенький ягненок, а розовый ангел с глазами из золотого бисера размахивал над ними не то оливковой ветвью, не то березовой розгой. Вышитый крестиком рисунок имел все очарование кубизма. Спины, уши, хвосты и крылья – все или подымалось, или опускалось правильной лесенкой. Другая сторона мешка была из кожи. На ней было выжжено изречение: «За ученого двух неученых дают». Деревянная ручка мешка представляла две человеческие руки в тесном рукопожатии. Одна рука была женская и имела на мизинце медное колечко с красным камнем. Что было в сундуке и в мешке, никто не знал. Никто никогда не видал их открытыми. Мадам Милица потратила две недели на укладку вещей.

И вот мадам Милица уже стоит на крыльце, прощаясь. На ней огромная плоская шляпа с остатками чего-то такого, что лет двадцать – тридцать тому назад могло быть и страусиным пером.

На руке она держала свое пальто, называемое «тальмой». Она уезжала. Она прощалась. Обряд проходил торжественно, но сдержанно. И Милица и Семья знали, что они сделались взаимно дороги и интересны и что отъезд Милицы был обоюдной потерей.

Мать решила проводить Милицу на вокзал. Улицы города имели уже необычный вид: границы иностранных концессий, как неприкосновенные к военным действиям, были резко отмечены на асфальте площадей и улиц и обнесены колючей проволокой. Кое-где возведены были стены из мешков с песком и кое-какие укрепления. У ворот, ведущих на концессии, стояли караулы и полиция. Бежало от войны богатое китайское население. Бесконечный поток нагруженных рикш, телег, тачек, автомобилей двигался через всю английскую, потом французскую концессии – до вокзала. Другой поток вливался в концессии из китайских частей города. Те, кто имел друзей, живущих на концессиях, спешили в них укрыться.

Все это с лихорадочной поспешностью, все говорило о приближающемся несчастьи.

Мать, постоянно сидевшая дома, вдали от событий и слухов, была поражена. Значит, правда, опять будут войны, потери, бегство и слезы. С болезнью Димы, а потом от радости его выздоровления она не вслушивалась ни в какие тревожные известия, ни о чем таком и не думала. И вот война уже на пороге дома.

Вокзал был загружен и запружен людьми, тюками, солдатами, пушками. Все это громоздилось, валилось, кричало и падало. Для многих этот день, этот отъезд был делом жизни и смерти. А беспощадное солнце жгло все это со своей спокойной высоты.

Японские солдаты, все до странности малого роста, стояли, перегруженные амуницией и оружием, и пот катился ручьями из-под их раскаленных металлических шлемов. Китайцы скользили неслышно, проникая во все щели. Когда сталкивался японец с китайцем, оба смотрели в сторону, мимо, как бы не допуская реальности существования другого. Лица и тех, и других были совершенно лишены всякого выражения.

Поезда приходили и уходили непрерывно. Одни привозили все больше и больше японских солдат и орудий, другие – из Пекина – везли раненых японских солдат, а также китайских

беженцев и раненых из тех, кто побогаче, потому что раненый бедняк оставался лежать там, где он упал. Дым, пар, каменноугольная пыль покрывали все пространство с приходом каждого поезда. Лязг железа покрывал все другие звуки.

«Война! – подумала Мать. – Кого мы еще потеряем? – спросила она себя в страхе. – Петю? Но он не имеет подданства. Кто заберет его в армию? – И горько сама себе ответила: – Найдутся...»

Поезд в Шанхай опаздывал.

Группа японских резидентов стояла перед поездом, идущим в Шанхай, провожая кого-то. Они стояли отдельной группой, и несмотря на тесноту и давку; на многотысячную китайскую толпу, вокруг этой японской группы было пустое пространство. Она стояла одна, отрезанная от прочего мира – и у всех на виду. Где-то, в китайском сердце, была проведена линия, отделившая от него японцев, и он за нее уже не переступал.

Где-то разгрузили поезд с ранеными мирными жителями, китайцами. Раненых не несли открыто, по платформе. Носилки, как бы пряча свою ношу, скрывались под навесом, заворачивали в каждый закоулок, двигались где-то на задах вокзала, за складами и пристройками. Это была как бы незаконная ноша, вроде контрабанды. Она избегала больше всего японского глаза.

Были и беженцы из своего тысячелетнего города. Очень-очень старую даму, очевидно благородного рода, слуги бережно несли в кресле. Две пожилые женщины, очевидно тоже служанки, бежали по сторонам кресла, едва поспевая за носильщиками. Одна несла сумку и веер дамы, другая – термос и зонтик. Даме, видимо, было около ста лет. Куда она бежала? От кого ее уносили? Лицо ее было до странности бледно, – видимо, долгие годы она жила, уже не выходя на воздух. Голова ее качалась при каждом шаге носильщиков. Маленькие, затуманенные глаза, казалось, уже не видели. Жалкие засохшие ручки беспомощно болтались по сторонам кресла.

«И мы молимся о долголетию для себя и других? – горько подумала Мать. – Зачем мы цепляемся за эту жизнь?»

Пришел поезд с ранеными японскими солдатами. Где-то грянула приветствующая их музыка. Японцы кланялись вагонам до земли. Волной хлынул к поезду японский медицинский персонал.

А там далеко-далеко, на запасном пути, вдали от сутолоки и шума стоял еще один состав. Это был спокойный поезд, без видимых пассажиров. Он был наглухо закрыт, и на дверях его висели печати. Это пепел убитых японских солдат отправлялся на родину, к восходящему солнцу, которое всходило уже не для них.

Мадам Милица свесилась из окна вагона к стоявшей на платформе Матери:

– Именно такой отъезд и предсказали мне карты. Узнаю семерку пик; девятку и валета!

Легкий ветерок вдруг сдвинул в сторону ее черные кудри. Мать в первый раз увидела сразу все лицо Милицы. Оно было мрачным, почти зловещим.

– Вы спросите: зная все это, что же ты едешь? Отвечу: тем, кто остался, будет не лучше. Строго говоря, знающему человеку на этом свете уже не из чего выбирать.

Когда Мать возвращалась домой, она видела, как подняли раздвижной мост через Хэй-Хо. Военная зона, таким образом, была обозначена. Война и смерть – для одной стороны, для китайского города: защита и безопасность для нейтральных европейских концессий. Еще действовал твердый интернациональный закон. На британской концессии не могло быть войны. И в первый раз в жизни Мать увидела Семью и себя – во время войны – в безопасности.

Поздно вечером того же дня японские жильцы пришли в пансион все сразу и привели с собой старую японскую леди. С улыбками и поклонами они объяснили, что на время все они опять уйдут, но леди останется. Она нуждается в покое. И опять с поклонами и улыбками они просили Мать немножко присматривать за старой леди и давать ей тепленького чая, бисквитов вот из этой коробки и – следовал глубокий общий поклон – хорошо бы два раза в день немножко отварить ей риса – вот из этого мешочка.

Китайский профессор совсем не выходил из своей комнаты за весь этот тревожный для Китая, гибельный день. Он все ходил взад и вперед, взад и вперед – часами, а он был человеком, который никогда не делал лишнего движения.

Все, все было тревожно, все беспокойно. Но Лида щебетала о том, как удачно она в тот день проплыла назначенное расстояние, а Дима учил Собаку улыбаться, – и вечер заканчивался мирно. Бабушка вернулась из церкви. Мерцала лампадка. Стали пить чай. Мать вздыхала. Ум ее отказывался верить в грядущие новые ужасы жизни.

Глава десятая

Рано утром они проснулись от грохота пушек. Артиллерийский бой шел в китайской части города. Правда, война между Японией и Китаем формально не была объявлена, но, объявлена или нет, тут она шла уже полным ходом, поражая главным образом бедное гражданское население, которое не может ни убежать, как богач, ни отступить, как армия.

Мать и Петя были первыми, кто выбежал на крыльцо. Они стояли, как бы защищая вход в дом. Дрожащая Лида и бледный Дима присоединились к ним. Петя объяснял, что сражение не может быть допущено на британской концессии, и разве только случайная бомба упадет около – не больше.

Как бы иллюстрируя его слова, страшный взрыв потряс воздух. Лида закричала. Дима схватил Мать за платье и старался в его складках спрятать свою голову. Вокруг раздавались крики. Бежали люди. Пешеходы собирались в группы и, жестикулируя, горячо спорили. Китайский мальчик, стоявший на соседней крыше, крикнул, что бомба разорвалась на британской концессии и упал большой двухэтажный дом.

Бабушка, уже одетая и причесанная, вышла на крыльцо.

– Что вы тут делаете? – обратилась она к своей Семье. – Идите в дом, неудобно – вы полуголые.

– Бабушка, они стреляют! – закричал Дима.

– Так что же? – спокойно сказала Бабушка. – Если будет бомбардировка, будем все вместе сидеть в столовой. Убьют – пусть убьют всех. Останемся живы – тоже все вместе.

В это время миссис Парриш появилась на балконе.

– Остановите шум! – кричала она. – Могу я иметь спокойную минуту в этом городе?

Газета внесла новое волнение в жизнь Семьи: британский городской совет приглашал добровольцев для поддержания порядка и возможной военной защиты концессии. Петя тотчас же решил идти. Его не отговаривали. Все мужчины Семьи в свое время были в армиях и защищали страну, где жили, и Петя – высокий, красивый и сильный – в данный момент представлял мужскую часть Семьи.

Согласно русской православной традиции, Бабушка, как самая старшая, взяла образ Владычицы и им торжественно благословила Петю. Вот он стоял – светлый и спокойный лицом, ее взрослый внук, – и она широким движением руки перекрестила его: «Иди с Богом, Петя!» Петя ушел. Бабушка закрыла за ним дверь и попросила оставить ее одну. Все знали, что она теперь будет молиться.

Сколько раз она благословляла мужчин своей Семьи идти на войну! Она благословляла мужа, она благословляла сыновей. Пришла очередь внуков. Три поколения! Муж был убит за родину в мировой войне. Сыновья были убиты в гражданской войне, защищая свои идеалы. За что будут умирать внуки? Человечество? Человеколюбие? Но что такое эта любовь к человеку в наши дни? На которой стороне фронта эта любовь? Она сама женщина и христианка, – не давала ли она благословение самым для себя любимым – встать, идти убивать, быть убитым? Где выход? В полном прощении врага? В несопротивлении нанесению ран, убийству? Или же в полном смирении и страдании перед неразрешимой загадкой проблемы зла в человеческом мире? Допустим: дай кесарю кесарево. Но не слишком ли много стал брать себе кесарь. Почитаю, – решила Бабушка и взяла свою единственную книжку «Великий Канон» Андрея Критского. Полупшепотом она читала, тихо вздыхая:

...Откуда начну оплакивать деяния моей несчастной жизни?

... Пред Тобою, Спаситель; открываю грехи,
соделанные мною, открываю раны души и тела.

... Двери Твоей не затвори предо мною...

Она упала на колени и со слезами молилась.

Когда Бабушка вышла из столовой, она казалась совершенно спокойной. Казалось также, что она сделалась немножко меньше. Но она улыбалась, и лицо ее светилось. Она пошла прямо в кухню.

Начавшаяся война сейчас же обратилась для Матери в хозяйственно-экономическую проблему. На рынке почти не было пищевых продуктов, а те, что там были, вдруг невероятно поднялись в цене. Британский муниципалитет объявил, что примет меры и будет бороться с купцами, злоупотребляющими военным положением. Хорошо, но на сегодня в доме № 11 не было пищи. Не было также и Кан.

– Куда он исчез? – спросила Бабушка.

– У него есть родные в китайском городе. Должно быть, побежал узнать о них.

И все это время была слышна канонада, только теперь казалось, что бой отходил от города на юг. Но все-таки в доме еще дребезжали оконные стекла, хлопали двери, с полок падали мелкие вещи.

– У нас на сегодня нет пищи, – сказала Мать.

– Ну, так не будем кушать сегодня, – улыбнулась Бабушка. – И едоков сегодня немного. Петю накормят в бараках. Мадам Милица уехала. Мы с тобою сегодня попостничаем, а для Лиды и Димы попросим бисквитов у миссис Парриш и возьмем взаймы немножко японского риса.

А в саду Дима уже наслаждался войной. Он понял, что это совсем не страшно. Бабушка только настрого запретила отворять калитку. Петя ушел и Дима, как единственный мужчина Семьи, естественно, делался ее защитником.

– Можем мы на тебя рассчитывать? – спросила Бабушка.

Да, на Диме лежала большая ответственность. Он обещал быть на страже, защищать дом и при первом шуме где-либо близко бежать в столовую («умирать вместе») и никак, ни за что не выходить за калитку. Он был с Собакой, и оба они ничего не боялись. И если Дима не мог пойти на войну, и могла ли бы война подвинуться ближе? Не могли ли бы они, например, взорвать соседний дом? Вдруг взрыв раздался где-то близко – что ж, Дима слегка только подскочил, – но Собака! Она поджала хвост, припала к земле и слегка завывала. Дима – как только пришел в себя – удивился. Значит, он еще храбрее и Собаки? Она в страхе жалась к его тоненьким ножкам. Волна гордого мужества подхватила Диму. Кого бы еще защищать? Да, миссис Парриш. Он вызвал ее на балкон и предложил свои услуги. Но она ответила, что у нее есть английский король, который не позволит японцам ее тронуть.

Весть о том, что у миссис Парриш был свой собственный король, что он заботился о ней, потрясла Диму. Ирония судьбы! У нее был король, но зачем король даме? Короли нужны мальчикам. И все же она имела и короля, и – раньше – собаку, а у Димы ничего не было. В России где-то был Сталин, но он – не король, и нет у него ни короны, ни мантии. А как бы Дима хотел короля! И чтоб король этот был молодой, красивый и очень воинственный. Вырос бы Дима, взял бы Собаку, винтовку и пошел бы к своему королю. Он бы отдал честь по-военному и сказал бы только: «Ваше Величество, мы – Ваши!» Король обнял бы Диму, назвал своим братом – и они провели бы свою жизнь в войнах.

Да, ружье, сабля... У Димы не было ничего. После краткого, но мучительного раздумья Дима поднялся вверх и постучал в дверь миссис Парриш. Она была больна от жары. Она просила сказать скорее, в чем дело, и уйти вон.

Дима подошел к ней военным шагом и заговорил конфиденциальным тоном:

– Миссис Парриш, война придвигается ближе. Петя ушел. Он будет ночевать в бараках. Японцы ушли. Кан исчез. Мистер Сун просто ничего не понимает. Миссис Парриш, я – единственный мужчина в доме, и Бабушка мне поручила защищать всех от врагов. Но чем? – Он

вытянул руки ладонями вверх. – Посмотрите – ни ружья, ни сабли. Нет даже и маленького револьверчика. Как Вы думаете, если бы купить ружье (Вы бы купили), я бы держал его днем, а Вы – ночью. Но и ночью... Миссис Парриш, если придут, сначала станут убивать в нижнем этаже, то и ночью пусть бы это ружье у меня ночевало.

Он ждал ответа. Ответа не было.

– Купим тогда в складчину, – сказал он, доставая из кармана весь свой наличный капитал в сумме тридцати центов. Но не легко дались Диме и эти деньги. Они были обещаны и получены в минуты страданий, героизма, болезней – как компенсация от взрослых за беспрекословное послушание.

Миссис Парриш наконец поняла. Она взяла жалкие бумажки, рваные, липкие, грязные – капитал Димы, положила их на стол и сказала:

– А ну, как война продлится долго? Что же покупать какой-то там револьверчик! Уж если покупать, то полное военное обмундирование, да и пару пушек хорошо бы поставить у входа. Надо бы и трубу и барабан на случай победы.

– Но деньги, миссис Парриш, деньги!

– Ты дал свою часть. Я дам свою. Я сейчас и закажу все по телефону. Еще может быть сдача, какая-нибудь мелочь. Только помни – все это будет твое. Даме неприлично вооружаться и воевать с японцами.

Еще до вечера были доставлены большие коробки для Димы, а также сдача – 20 центов, двумя новенькими бумажками. Дима был потрясен количеством и замечательным видом вещей. Таких не бывало даже и в окнах магазинов. Все было совсем настоящее, только, конечно, ничто не стреляло и не резало. Но это и не важно. Врага надо попугать – и он убежит.

И счастливый Дима, покрытый оружием, маршировал в саду. Собака следовала за ним, но без энтузиазма. Миссис Парриш по временам спрашивала с балкона, нет ли чего страшного поблизости, и Дима отвечал всякий раз:

– Так точно, нет, не беспокойтесь!

Глава одиннадцатая

После трехдневной битвы Тянцизи был взят японцами. Канонада замолкла, но в городе чувствовалось тяжелое нервное напряжение и беспокойство.

Около ста тысяч китайского населения бежало из китайского города, ища убежища на иностранных концессиях. Население в них учетверилось, и концессии закрыли свои ворота, не впуская никого больше. Сплошная масса китайских беженцев стояла стеной вокруг концессий. Передний ряд был втиснут в колючую проволоку. В мире нет более сдержанной, более терпеливой и молчаливой толпы, чем китайцы. Под палящим солнцем, без питья и пищи, потрясаемые громом орудий, которые там, недалеко позади, разрушали их имущество и вековые жилища и убивали их родных, они стояли спокойно, не теряя человеческого достоинства, стояли – старики, мужчины, женщины, дети.

Армия Спасения явилась первая с помощью. Они пришли военным маршем, расчистили место, разбили палатки и стали варить и раздавать порridge. Это была малая капля в море, но все же она говорила о том, что еще есть где-то забота и жалость к человеку.

И Семья тоже получила свою порцию перенаселения: около тридцати человек китайцев толпилось на черном дворе, все, по словам Кана, его ближайшие родственники. Все возрасты, от одного года до девяноста, были представлены в этой группе. Они все молча сидели на земле, по внешнему виду совершенно спокойные. С ними не было никакого имущества, и они, конечно, все были голодны. Мать открыла подвал для угля, который летом был пуст, и предложила подвал как ночное убежище. Кто не поместился, спал на дворе. Но есть было нечего. После некоторого колебания Мать обратилась за помощью к миссис Парриш. Мистер Сун сам предложил немного денег, и все родственники Кана имели чай и маленькую порцию риса два раза в день.

– Не пускайте Собаку на черный двор, – сказала миссис Парриш, – я даже с балкона вижу, что двое детей там покрыты пылью.

Решили не пускать ни Собаку, ни Диму. Но Бабушка проводила много времени с беженцами. Она всегда легко входила в дружеские отношения с людьми самых разнообразных характеров и положений. Казалось, она умела говорить на всех языках, потому что владела прекрасно одним – языком человеческого сердца.

Она прежде всего подходила – как принято у китайцев – приветствовать старейшего члена группы. Здесь это была маленькая хрупкая женщина. Бабушка утром спросила у мистера Суна нужные слова и могла сказать ей:

– Сегодня день будет не очень жарким для Вас, почтенная старшая леди. – И она поклонилась.

Старушка улыбнулась совершенно беззубой улыбкой и что-то ответила, также с поклоном. Бабушка не поняла ответа, но это было совершенно не важно. Они говорили на языке дружбы. Сами слова не имели значения.

В практических вопросах Кан всегда был около, готовый с переводом на русский.

На пятый день, в воскресенье, Мать выбрала для себя, наконец, свободное время пойти в церковь. Чтобы попасть туда, надо на перевозе переехать Хэй-Хо. Река эта очень узка, очень глубока и необыкновенно грязная. Но в это воскресенье через реку нельзя было переехать. Насколько хватало глаз, она была запружена медленно плывущими трупами китайцев. Это были и солдаты в военной форме, и разного возраста и вида гражданское население. Апофеоз войны! Они были убиты. Где это взять десятки тысяч гробов? Кто это станет копать десятки тысяч могил? Как оставить горы трупов под этим палящим солнцем? Их бросили в воду, в Хэй-Хо, и предоставили силам природы. Пораженная ужасом Мать, как и многие другие, стояла на берегу не в силах двинуться с места. Трупы плыли так близко. Можно было видеть даже

последнее выражение на их лицах, одежду, распухшую руку, кровавую рану. Они плыли не торопясь, почему-то лицами вверх, и у многих были открыты глаза. Они плыли покачиваясь, как бы слегка подталкиваемые снизу, ритмически ударяясь один о другого. То одно, то другое тело вдруг приподымалось выше других, как бы желая сказать в последний раз «прощай!» и этому солнцу, и этому небу, и ряду легких облаков, плывущих в другом направлении – от моря, туда, откуда плыли эти трупы и куда они уже больше не вернуться, к тем полям, к тем холмам, к протоптанной когда-то тропинке, к жилищу, где возникла и расцвела в мире эта насильственно прерванная жизнь.

– Боже мой! – воскликнула Мать, – кто допустил этот ужас!

На берегу стояли европейцы, больше всего русские. Китайцы ступали перед новой, такой жестокой, властью. Их не было на берегу. Но за рядами зрителей шла обычная работа у реки, нагружали какие-то возы, бочки и ящики. Там работали китайцы. Они остались живы. Они должны есть – и они работали, как всегда, ловко и быстро, но все как-то держась спиной к реке, не глядя в ту сторону.

Мать не могла больше выносить страшного зрелища. Она побежала домой. Но она не могла долго не только бежать, но даже и идти, так как у нее началось сильное сердцебиение. Она кликнула рикшу. Мать редко ездила на рикшах. Во-первых, это стоило денег, а во-вторых, она никак не могла привыкнуть к такому роду услуг человека человеку. Ей всегда было жаль рикшу. И теперь, глядя, как-он бежит, задыхаясь, как поднимаются его натянувшие кожу ребра, как бегут ручейки пота по его голому телу, слыша свистящий звук его дыхания, – она думала горько:

«Мы все жестоки и безумны. И это цивилизация, гуманность, прогресс?»

Бледная, дрожащая, она добралась до дома и пошла прямо в кухню, чтоб сразу заняться какой-нибудь спешной работой – и тем изменить мысли.

У каждого есть своя манера быть несчастным и выражать или не выражать это. Мать горевала по-своему. Она начинала тихонько петь. У нее еще оставался мягкий и приятный задушевный голос. Часто он обрывался на высокой ноте, и вместо взлета получалось пустое пространство. Но именно это и придавало ее пению какую-то небывалую печаль, какую-то интимную грусть, которая, казалось, ничем не могла быть выражена. В обычном состоянии ничто не могло заставить Мать петь. Она пела только тогда, когда чувствовала себя очень несчастной и больше не могла терпеть.

Услышав это пение, Бабушка немедленно начинала свои приготовления. С годами уже установилась определенная рутина. Напевшись вволю, Мать замолкала. Она сидела с полужакрытыми глазами, как бы вглядываясь во что-то внутри себя, никому другому не видимое. Затем она начинала рыдать, ударяя свою голову о стену, – и все заканчивалось обмороком или сердечным припадком. Придя в себя, она подолгу говорила с Бабушкой, как дитя, жалобным разбитым шепотом. И слышался также голос Бабушки – нежный-нежный и все же имевший где-то в основании адамантовую твердость. Затем обе замолкали. Мать выходила в кухню и принималась за свою обычную работу. После каждого такого припадка Мать делалась как будто старше, несколько ниже ростом, бледнее. Жизнь понемногу уходила из выражения ее лица и глаз. Казалось, она каждый раз делала еще один шаг к могиле.

Так и теперь. Прислушиваясь к ее пению и звукам кастрюль – они падали, – Бабушка приготовила диван, подушку, холодную воду, полотенце и отсчитала в стакан 20 валериановых капель. Она знала, что лучше не вмешиваться сейчас же, не ждать обычного заключения пения.

Мать пела прекрасный старинный романс:

...Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегах Невы.

Тайной скорбью Матери было то, что ее бросил когда-то горячо любимый муж, отец Лиды. Разлученные революцией, они долго жили в России, ни чего не зная один о другом. Для Матери это были горькие годы беспрестанного беспокойства о нем и молитвы. Жив или мертв, – она не могла потерять его, вычеркнуть из своей жизни. Встреча – здесь ли, на земле, или там, в иной жизни, была лишь вопросом времени.

И вдруг неожиданно она получила от него письмо. Это было хорошее письмо, в дружеском тоне уведомлявшее ее, что он развелся с ней и женился на другой женщине. У них было два сына, и он живут, в общем, счастливо. С большим интересом он спрашивался о родственниках. Как Бабушка? Как дочь моя Лида? А главное, о ней самой. Вышла ли она вторично замуж? Когда? За кого? Затем шли пожелания ей счастья. Письмо заключалось просьбой писать и сообщать почаще о ее жизни и о Лидий.

В письме не было и намека на экономическую помощь, ни вопроса, как и на что Мать и Лида жили и живут в настоящее время. Не было никаких предположений встретиться когда-либо в будущем.

После долгих лет, в течение которых Мать, молясь, предполагала все возможные несчастья с мужем, все, кроме одного – и горшего, что он может сам измениться, – это был тяжелый удар. Страдать от врага – это естественно, чего же и ожидать от врага? Но получить такой тяжкий удар от горячо любимого друга было свыше сил. И все же, с чувством собственного достоинства и гордости, она похоронила свое горе в своем собственном сердце, ему же ответила таким же письмом, в таком же дружеском тоне. Она написала, что Бабушка жива и здорова, что сама она замуж не вышла, что Лида растет и расцветает, что с ними вместе живут еще родственники. Она тоже ни словом, ни намеком не коснулась финансовой стороны жизни и также заключила письмо предложением переписываться. С тех пор раз-два в год приходили подобные письма из Советской России. Она читала письмо, разрывала его на кусочки, а марку отдавала Диме. Ни с кем, кроме Бабушки, Мать не делилась содержанием писем, да и с той обменивалась лишь несколькими словами в день получения письма. Как она переживала свое унижение и горе, было скрыто глубоко в ее сердце. Но приходили моменты слабости, когда ее чувства прорывались наружу. Бывало, вдруг начнет про себя вспоминать эту юность, это счастливое время, когда жизнь освещалась такой любовью, такой надеждой... Она вышла замуж по горячей любви. Только вспомнить те дни... И контраст между настоящим и тем «прежде» всегда вновь, как свежий удар, поражал ее сердце. Эта рана не заживала, это горе не забывалось. Из всех впечатлений жизни оно одно было бессмертным.

Так и сегодня она пела тихонько, и слезы, большие и редкие, катились и падали в пудинг, который она мешала большой деревянной ложкой.

...До гроба вы клялись любить поэта...

А Бабушка прислушивалась из столовой.

...Вы не исполнили священного обета...

Через полчаса Мать уже лежала на диване в столовой. Валериановые капли были выпиты. Она уже не плакала, но сотрясалась от внутренней нервной дрожи. Бабушка укрывала ее всеми пальто Семьи. Дима и Собака стояли у дивана, страдая от своего бессилия помочь.

Через два часа Мать уже была на кухне, заканчивая пудинг. Бабушка помогала ей, и они изредка обменивались фразами, сказанными только друг для друга, шепотом.

Мать была натурой скрытого горения. Такою была и Бабушка. Но Бабушку никто никогда не видел потерявшей самообладание. Возможно, все, что было личным, давно перегорело в ее сердце, и остался только пепел, и этот пепел остывал все более и более, и в нем не было уже ни

огня, ни даже искр. Может быть, надо жить до семидесяти лет, чтобы иметь этот пепел. Может быть, он уже начинал накапливаться и в сердце Матери. Возможно, наступит день, когда она скажет: «Письмо от моего бывшего мужа, твоего, Лида, отца. Пишет, что живет хорошо. Шлет привет от себя, жены и сыновей Вам, Бабушка, и тебе, Лида».

Она это, возможно, скажет уже безразличным тоном, бесцветным и ровным голосом, и пепел в сердце будет лежать, не тронется. Но пока... пока... Вот она в кухне, перед этой печкой, с этим мертвым серо-лиловым лицом. Почему лицо делается лиловым от боли в сердце? А она была когда-то очень красивой. Природа задумала ее как украшение, как деталь роскоши в этой жизни, на этой планете. Но что-то изменилось в намерении природы, и она ожесточенно стала разрушать одно из прекрасных своих творений.

В четыре часа, когда уже окончательно тяжелый покой повис над пансионом № 11, Бабушка вспомнила, что никто ничего не ел в этом доме с самого утра.

Поспешно, с помощью Кана, стала она готовить поднос с пищей для миссис Парриш, накормила Диму. Затем сама приготовила и понесла пищу мистеру Суну. Мистер Сун не просил пищи, но он не выходил из дома, а в комнате у него пищи не могло быть. Человек же не может жить долго без пищи. Бабушка с подносом Тихонько постучала в дверь мистера Суна. Ответа не было. Она постучала еще раз и, тихонько отворив дверь, вошла.

Он сидел неподвижно, как-то невесомо, и глаза у него были какие-то пустые. Он знаком отказался от пищи. Но Бабушка не уходила. Она стояла перед ним с подносом и кланялась, и просила его покушать. Мистер Сун выпил чашечку чаю и съел два бисквита.

Бабушка возвратилась на кухню, вымыла посуду и в ту же чашечку, из которой пил мистер Сун, налила чаю для японской старушки. Она постучала в дверь комнаты, где жили японцы, и тоже никто не ответил. И опять Бабушка тихонько вошла без приглашения. Старая леди неподвижно сидела на полу, на циновке, и смотрела такими же пустыми странными глазами, как и мистер Сун. Они одинаковы были сегодня – и японские глаза, и китайские, и победители, и побежденные. И японская леди отказывалась от пищи, но и ее – своей улыбкой и поклонами – Бабушка убедила немножко покушать. И пока та пила свой чай и ела бисквитик, Бабушка смотрела на эти морщины, на эти глубокие складки, и в них читала долгую повесть о горькой жизни. И желтой расе жилось не легче, чем белой.

Этот день казался необыкновенно длинным. Казалось, ему не будет конца. Казалось, никак не дожить до вечера.

Но вечер пришел, и с ним легкая прохлада, тишина и легкий, неуверенный в себе ветерок. Бабушка вышла посидеть на ступеньке крыльца. В саду, на скамейке, между двух уже голых от жары деревьев сидел мистер Сун. Они сидели близко один от другого, но не говорили. Даже обычное «Добрый вечер!» не было произнесено. Родной город мистера Суна был взят японцами. Теперь мистер Сун был только гостем в Тяньцзине. Он сидел неподвижно, под голыми деревьями, глядя вниз на так рано упавшие, сгоревшие от солнца листья, как бы читая в них что-то важное для себя.

Когда же спустились сумерки, летели стайкой какие-то птички. Напуганные канонадой, потеряв свои гнезда, они, притаившись где-то днем, ночью переселялись куда-то. Свои, домашние птички, жившие в двух-трех гнездах под крышей, над балконом, чирикали успокоительно, радостно. Они были дома.

Вдруг стукнула калитка, и бедно одетый, почти полуголый китаец проскользнул в сад. Украдкой оглянувшись, он пошел прямо к мистеру Суну, как бы зная, что тот ожидает его, и, низко-низко ему поклонившись, сказал что-то кратко и тихо и так же быстро ушел.

Хотя мистер Сун не сказал ничего, не привстал, не поднял головы, даже Бабушка знала, что был вестник большого несчастья, что кто-то из дорогих для мистера Суна покинул навсегда эту землю и что не на листья теперь смотрел мистер Сун, а в чью-то раскрытую могилу. Она знала это наверное. Не прошла ли она сама через этот же опыт – и несколько раз в своей

жизни? Только опытный глаз мог заметить единственное движение вниз плеч мистера Суна, когда обрушился удар, и по краткости движения она знала, что удар был тяжел и страшен.

Она встала, тихонько подошла к мистеру Суну и остановилась около него. Запоздалая ласточка пролетела совсем близко от них, почти задевая крылом землю.

– Эти ласточки, – сказала Бабушка, – прилетают к нам из Индии. Наши ласточки, в России, прилетали из Африки.

Мистер Сун ничего не ответил на это.

– Как, в общем, таинственна жизнь птицы, – продолжала Бабушка. Она помолчала немного. – Так же неисповедимы и пути человеческой жизни...

– И смерти, – чуть слышно сказал мистер Сун.

– Смерти нет, – сказала Бабушка, – есть перемена. Непонятная для нас и потому кажется страшной. Перемена – закон жизни. Она нас пугает потому, что она предвещает разлуку.

– Разлуку, – прошептал мистер Сун.

Бабушка присела рядом с ним на скамейку, и они долго сидели так, молча. Темнота ночи, медленно спускаясь, обволакивала их и все кругом. Больше не было слышно голосов птиц. Только тихие приглушенные звуки доходили время от времени с черного двора, где Мать с помощью Кана раздавала вечернюю порцию риса.

Вдруг громко распахнулась балконная дверь, и миссис Парриш, наклонясь с балкона, стала кричать:

– Почему так тихо? Почему никто не разговаривает? Что это – могила? Все, что ли, уже умерли в этой норе? Дом полон покойников? Эй, живая душа! Сюда! Ко мне!

Бабушка поспешно встала и почти бегом побежала в комнату миссис Парриш.

Глава двенадцатая

В начале августа сравнительный порядок был восстановлен в Тянцине и его окрестностях. Китайские беженцы начали возвращаться из иностранных концессий в свой китайский город. Они топтались на пепелищах, среди развалин, пытаясь что-то восстановить, что-то построить. Армия Спасения выдавала все меньше риса. Поезда приходили в Тянцин и отбывали оттуда. Начала работать и почта. В районе города появлялось все больше и больше японцев. Строились укрепления и аэродромы. Как лавина, откуда-то надвигалось огромное количество японской военной амуниции. С характерным для них топотом японские войска маршировали куда-то в южную сторону, оставляя город.

Только четыре японца вернулись в пансион № 11. Они кланялись, улыбались и спрашивали всех о здоровье. О пятом не было сказано ни слова. Они все четвером увели куда-то старую японскую леди, которая едва двигала ногами, но все же тоже кланялась. Только три японца вернулись затем, чтобы жить в доме. Они еще раз спросили – все разом – о здоровье и, в благодарность за заботы о старой леди, подарили Бабушке большую коробку бисквитов Meiji и шелковый носовой платок. И на коробке, и на платке была изображена прекрасная Fudji-Yama.

Семья Кана на черном дворе убавилась до четырех. Мистер Сун сделался безработным, потому что китайский университет, где он читал лекции, был разрушен японцами.

За счет трех японских джентльменов в доме было установлено радио. Оно внесло поток звуков. Domei-dispatch ежедневно заявлял о блестящих японских победах. Гремела странная музыка и какое-то нечеловеческое гортанное пение хором. Кто пел и по какому поводу? Была ли это радость победы или похоронное пение? Как оно было загадочно и странно для европейского уха! Гремели речи от новых японских правительственных органов; голоса негодования и воззвание о помощи – «ко всем!» – от раненого Китая. Слышно было Гитлера, глас сверхчеловека из Берлина, и восхитительная музыка из Grand Opera и La Scala. И все это говорило о том, что нет единения в человечестве, что различны интересы классов и наций, что больше и больше дробилась прежними веками выкованная христианская и нехристианская мораль и что нет выхода, нет никому оправдания и всем грозит гибель.

И пока наслаждались японцы своим новым радио, ужасалась Бабушка: без радио она не знала, как страшен стал внешний мир.

С ревом радио в доме, с шумом аэропланов, почему-то тренировавших своих пилотов над самым городом, миссис Парриш легко теряла душевное равновесие – и сама подымала не меньший шум. Теперь Бабушка с утра до вечера находилась в комнате миссис Парриш. Бабушка придумала хитрость. Она играла с миссис Парриш в карты. Когда выигрывала Бабушка, она получала чашечку кофе. Когда выигрывала миссис Парриш, она получала немножко виски. И то, и другое было заперто в шкафу миссис Парриш, и только у Бабушки были ключи. В обоих случаях Бабушка старалась растянуть приготовления: то кофе медленно варился на спиртовке, то надо было сначала причесать миссис Парриш и вымыть стаканчик, а потом уже наливать виски. Если миссис Парриш отказывалась причесываться или умываться, Бабушка уговаривала ее, как ребенка. Она имела опыт, воспитав два поколения послушных и милых детей. Вечером они немножко гуляли около дома. Дима и Собака, шагая за ними, оберегали их безопасность. Уложив миссис Парриш в постель, Бабушка придумала начать ей рассказывать о своей жизни, с самого начала. Это была долгая жизнь. Была ли Бабушка хорошим рассказчиком, была ли жизнь ее так занимательна, только миссис Парриш глубоко заинтересовалась с самого первого вечера. Чем дальше развивалась история Бабушкиной жизни, тем глубже был интерес миссис Парриш. Бабушка же повествовала только о фактах, не добавляя ни выводов, ни поучений. История шла, начинаясь в прекрасном доме обширного имения, под безоблач-

ным родным небом, затем перемещалась в столицу, путешествовала по заграницам и, вдруг оставшись без крова, ютилась в тюрьме, в товарном вагоне, в китайской фанзе. Долог, долог был путь от имения «Услада» до пансиона № 11! Иногда, слушая рассказ, миссис Парриш внезапно засыпала. Проснувшись, она повторяла последнее слово, сказанное Бабушкой, и спрашивала: «Что дальше?»

Если Бабушки уже не было в комнате, она выбегала в коридор и, свесившись с лестницы, кричала:

– Хо-хо! Бабушка! А когда он сказал: «Готовьтесь!» – что дальше?

И мягкий голос Бабушки отвечал откуда-то снизу:

– Когда он сказал: «Готовьтесь!» – я начала молиться. Но в волнении я забывала слова и только повторяла «Отче наш, Отче наш».

И Бабушка появлялась на лестнице. Медленно всходя по ступеням, она продолжала рассказ.

То были тяжелые дни для миссис Парриш. Доктор Айзик оставил город на целый месяц. Он уехал в район разрушения бесплатно лечить китайцев. Бабушка одна присматривала за миссис Парриш.

– Что Вы тут шьете по целым дням? – спросила как-то миссис Парриш.

– Я починая Ваше белье, миссис Парриш.

– С какой стати! Для этого есть амы³. Я позвоню в католический монастырь, и они нам пошлют аму. Бросьте эту работу!

Ама пришла на следующее утро. Это была приземистая женщина крестьянского типа. Лицо ее носило выражение настороженности и критического отношения к жизни. Шила она прекрасно. Бабушка хотела использовать немножко для себя опыт Амы. Обе они шили, сидя на площадке лестницы, напротив комнаты миссис Парриш. Дверь в эту комнату была открыта, и Бабушка держала, таким образом, свою пациентку под неослабным наблюдением. Работая, она вела разговор с Амой.

– Скажите, Ама, Вы довольны тем, что Вы – христианка?

Ама бросила исподлобья быстрый взгляд на Бабушку.

– Нет, я не довольна.

Это был неожиданный ответ.

– Почему?

Ама помолчала немного.

– Что бы мне ни понравилось, чего бы мне ни захотелось – все это грех. А Бог наказывает за грех. И Он все видит. Невозможно спрятаться. Мне это не нравится.

– Но Вы молитесь?

– Мне нельзя не молиться. Иначе не будут держать в монастыре.

– Но Вы, значит, не любите молиться.

– Я не люблю молиться? Наоборот, я очень люблю молиться. На это время не дают работы. Очень спокойно и хорошо.

– Кому Вы молитесь?

– Я молюсь Божьей Матери.

– Не Иисусу Христу?

– Редко. Есть вещи, которые не скажешь мужчине.

И это было неожиданно. Бабушка прекратила вопросы, и некоторое время она работала молча. Миссис Парриш появилась на пороге:

– Скажите, Ама, Вы уже монахиня?

³ Ама – прислужница.

– Нет. Мать игуменья говорит, что я не гожусь. У меня грешные мысли. «Ты лучше выходи замуж, – так она мне говорит, – может, твои дети будут хорошими католиками». И еще она находит, что я говорю много: «У разговорчивой женщины меньше шансов сделаться святой».

– Если так, то почему же Вы живете в монастыре?

– Мне нравится. Спокойно. Поработаешь и помолишься. Опять поработаешь. И помолишься. И это все.

– Но молиться можно везде.

– Как-то лучше выходит в большой компании. Монахини – славный народ. Хорошая компания.

– А как случилось, что Вы пришли в монастырь?

– Я не шла, меня монахини на руках несли. Мои родители продали меня за два доллара. Я была еще очень маленькая, больше двух долларов и не стоила. Был голод. Почтенным родителям надо было купить буйвола, чтобы пахать землю. Они продали меня и моих сестер.

– И у Вас нет в сердце обиды?

– Я очень счастлива, что родителям от меня была польза. Они ведь купили быка.

– А Вас купили монахини?

– Нет, это не так было. Очень плохие люди скупали девочек. Монахини тогда сказали: «Лучше мы купим». Дали дорожку и купили.

– Бабушка, – звала миссис Парриш, – идите! Пора играть в карты!

– Извините меня на сегодня, – просила Бабушка, – мне нужно закончить платье для Лиды.

– Но я хочу играть в карты!

– Я позову дочь Таню. Она поиграет с Вами.

– А она хорошо играет?

– Нет, я думаю, плохо. Без практики.

– Ну, тогда я согласна. Дайте сюда ключи от шкафа. Я буду получать награду.

– Вспомните уговор, миссис Парриш. Ключи всегда у меня. Когда Вы выиграете, кликните меня. Я приду и выдам награду.

За два часа Бабушка выдавала награду пять раз. Пришлось посадить Мать за работу над Лидиным платьем, а Бабушка пошла играть в карты. Миссис Парриш не сразу согласилась. Ей нравилась новая партнерша.

Теперь Ама говорила уже Матери:

– Да, у меня грешные мысли. Но что тут делать! Хороший тон в монастыре – это молиться о других. А этих других очень много. Некогда думать о себе. И вот получается так: другие живут в свое удовольствие, а как только Бог захочет их наказать, тут я должна молиться, чтоб Он их простил. И так иногда зло берет на этих других. Вот и теперь я в душе говорю Богу: «Ты видишь, что делают японцы? Смотри, хорошо смотри. Не забудь ничего из того, что Ты видишь. Начнешь наказывать – хорошо их накажи». Пока что не вижу, чтоб Он начал наказывать.

Вы знаете, у Него к грешникам много терпенья. А вот к тем, кто уже христиане, терпенья меньше.

– Да, Ама, Вы странно рассуждаете о Боге.

– Я уже сказала, что у меня грешные мысли. В монастыре всем это давно известно. Мать игуменья даже хотела наложить на меня обет молчания. А потом махнула рукой. Слов не будет, мысли останутся. К тому же я хожу шить. А как шить без разговора?

– Кто научил тебя так хорошо шить? – спросила Мать, чтобы переменить тему.

– Монашки научили. И говорить по-английски научили. Немножко писать и читать то, что я написала. Я еще умею вязать. Когда сравниваю себя с другими, вижу, что я – образованная девушка.

– А книги Вы не читаете?

– Пробовали меня учить, но это подымает мои грешные мысли. В монастыре читают только книги о святых. Мне очень нравится. Но когда я потом рассказываю, что я поняла, монахини сердятся и разбегаются от меня. Мать игуменья раз даже топала на меня: «Не прикасайся к книгам. У тебя грешные мысли». Мне даже запретили задавать вопросы, если я не понимаю того, что нам читают вслух. А много интересного!

– И Вы сожалеете, что Вам не дают читать?

– Нет, не очень. Больше читаешь, больше знаешь. Меньше знаешь – легче. Согрешишь и не знаешь, что грех. Не надо каяться. Удобно.

И голоса замолкли надолго.

«Что это Тани не слышно? – думала Бабушка. – Где она?»

Она вышла из комнаты миссис Парриш. Мать стояла в какой-то странной неподвижности у окна и сосредоточенно смотрела на что-то находящееся внизу.

Бабушка подошла к ней, но Мать не слыхала ее шагов. Она все стояла и смотрела в окно, выходящее в чужой, соседний сад. Этот сад был полон прекрасных цветов. Как неподвижное розовое облако, склонялась над домом мимоза. В ее тени молодая женщина полулежала на кресле. У ее ног, на траве, сидел господин и обмахивал ее для прохлады круглым прозрачным веером. Неподалеку стоял маленький изящный столик с чайным прибором. Китаец-слуга, весь в белом, разливал чай. От всего этого веяло счастьем.

– Посмотрите! – сказала Мать, задыхаясь от слез. – Почему мне не дано этого? Как хороша жизнь, если видеть ее оттуда!

– Не говори этого, Таня! – Бабушка положила ей руку на плечо. – Кто знает, что скрыто за этим видимым счастьем! Твоя же тяжелая жизнь – узкая тропинка к небесам. Научись любить ее.

Глава тринадцатая

– Какое странное письмо! – сказала Лида, разбирая утреннюю почту. – Оно адресовано Бабушке, и Бабушку называют «ее превосходительством».

– Подумать только, – сказала Мать, – есть кто-то на земле, кто это помнит! Мы уже и сами забыли все наши титулы.

– От кого это письмо? – продолжала Лида. – Бумага самая дешевая. По штемпелю оно из Маньчжурии.

– Прочитай мне его вслух, – сказала Бабушка. – Не могу бросить вязанье. Едва ли успею выполнить заказ к сроку, а деньги нужны. Таня, приходили за деньгами из пекарни?

– Сегодня были два раза.

– Но слушайте, слушайте! – И Лида начала читать вслух:

«Благословение Господне на Вас.

Боголюбивая сестра во Христе, здравствуйте. Лично мы Вас не знаем, но слышали, что Вы благочестивая христианка. Посему обращаемся к Вам с покорнейшей просьбой. Помогите. Мы знаем, что Вы держите пансион и принимаете постояльцев. Дорогая наша Матушка Игуменья собирается в Шанхай, задумывает там основать убежище для русских бездомных старушек и бесприютных деток-сирот. Денег, конечно, у нее нету. Просим Вас покорнейше приютить ее и еще двух сестер-монахинь на несколько дней под Вашим кровом. Монастырь наш очень беден, уплатить никак не можем – хватило бы хотя на железнодорожные билеты, но молиться за Вас будем усердно, и Господь Сам Вас вознаградит. Смиренно ждем Вашего утвердительного и скорого ответа. С христианской любовью и молитвами о Вас, а если есть у Вас семейство, – то и о Вашем семействе также.

Смиренная сестра Павла (казначей).

Смиренная сестра Анна (письмоводитель).

P.S. Наша дорогая Матушка Игуменья вкушает только варенные овощи с постным маслом. Она также может пить чай с лимоном».

– С лимоном?! – вдруг сердито вскрикнула Мать. – Когда это были лимоны у нас в доме? Лимон стоит шестьдесят сентов за штуку!

– Что ты, Таня! – Бабушка остановила ее с упреком. – Каким тоном ты это говоришь? Ты удивляешь меня.

– Удивляю? Даже Вас я удивляю! А кто знает, чего мне стоит это ежедневное хождение на базар? Мы там должны всем, в каждой лавке. А я все прошу в долг. Тут откажут, там откажут, я иду дальше – и все прошу и прошу...

Она вдруг заплакала. Она стояла перед Бабушкой, жалкая-жалкая, плакала и повторяла:

– А я все прошу и прошу...

Лида кинулась к Матери, обняла ее и тоже заплакала. Бабушка крепилась, не сдавала позиции.

– И полно, Таня! У нас две свободные комнаты а у людей нет крыши. Приедут три бедные женщины-монашки. Ну, немножко больше работы. Ну, еще немножко попросишь в долг. Они – великие постницы, кушают мало. Поделимся тем, что будет...

Но и Мать не хотела сдаваться:

– На постном масле? Да? С лимоном?

– Таня, они не могут есть на сале, оно – скоромное. А ты подумай о другом. Дети наши никогда не были в православном монастыре, не видали монашек, не говорили с ними. Ведь это

– кусочек прежней России приедет в наш дом. Лучше станем радоваться этому. Как будто что-то из прошлого, прикоснемся к чему-то родному! Что – бедность. Что – унижение? Они всегда с нами. Да и грех отказать, стыдно. Наши семьи в прошлом всегда поддерживали монастыри.

Но и Мать успокоилась, и Лида уже сияла:

– О Бабушка, дорогое наше «превосходительство»! Сейчас же им и напишу «скорый и утвердительный ответ».

– Нет, нет, Лида, это я сама напишу. Подобные приглашения пишет старший в семье. От тебя – это было бы даже не совсем вежливо.

Мать только терпеливо улыбнулась.

– Смотрите, вот и другое письмо, и тоже какое-то странное. И бумага еще хуже, – воскликнула Лида. – Какие странные буквы! На каком же это языке? Неужели по-английски? Мама, это Вам.

– Читай, Лида, у меня мокрые руки, я мою посуду.

Письмо, или вернее, поэма, род одиссеи, было от мадам Милицы. Написано оно было смесью четырех наиболее известных мадам Милице языков. Его невозможно было ни прочитать, ни понять сразу. Нужно было научное исследование корней слов и их морфем, приставок и окончаний, но и этого было бы недостаточно. Письмо имело высокаторжественный, архаический и запутанный стиль. К тому же у писавшей был собственный взгляд на знаки препинания и употребление заглавных букв.

Все по очереди старались читать письмо. Обсуждали, догадывались. Было очень интересно.

Мадам Милица так и не попала в Шанхай. Сначала ее остановили в Тан-Ку. Кто остановил, было неясно. Мадам Милица писала «остановили» в заглавных буквах, затем следовал странный письменный знак, и с трудом разбиралось дальше «враги». На пароходе она все же добралась до Шанхая, но ей не позволили сойти на берег. Шанхай был на военном положении, и она – мадам Милица – свидетель, что бой шел в Чапай. Пароход отчалил, и мадам Милицу повезли в Гонконг. Итак – привет всем с дороги!

Но не только факты, были и наблюдения и мысли – и мадам Милица щедро делилась ими с Семейей, хотя и знала, что это потребует двойного количества марок.

Она сообщала, что на пароходе, как и везде, только два класса людей: те, у кого есть деньги, и те, у кого их нет. Для первых есть все услуги и все удобства. Каково путешествие для вторых, спросите мадам Милицу. Она вам скажет. В таком путешествии ее утешением было, что она все знала вперед, ничему не удивлялась и сохранила полное личное достоинство.

Она просит Семейю не беспокоиться: мадам Милица умрет, когда ей будет восемьдесят четыре года, чего нельзя сказать – увы! – о многих богатых пассажирах парохода. И умрет мадам Милица спокойно, в своей постели. С усмешкой она поэтому смотрит в жерла и китайских, и японских пушек и сохраняет спокойствие, когда сообщают, что не то аэроплан, не то субмарина гонится за пароходом, чтобы его взорвать. Они не смогут вырвать один-единственный волос из ее прически. Слепцы цивилизации! И она шлет привет и поклон всей любимой Семейе, особенно Бабушке. Пожалуй, передайте привет и миссис Парриш.

Письмо с остановками читали весь день.

Вечерняя газета принесла хорошую новость.

– Слушайте, – кричала Лида, вбегая с газетой, которую выписывала и никогда не читала миссис Парриш. – Слушайте: добровольцы отпускаются сегодня. Они получают по десять китайских долларов за каждый день службы. Боже! Значит, Петя придет и принесет – считайте, считайте! – о Бабушка! Он купит мне белые туфли! Мама, Вы позволите, чтобы он купил мне белые туфли? С кусочками коричневой кожи на носке и пятке!

– Видите, – сказала Бабушка, – вот и деньги на лимоны!

А Лида все читала и перечитывала, считала долги и деньги и что кому нужно – и все выходило, что, пожалуй, купят ей туфли. И если кончена война, откроют магазин, где она служила, и она пойдет работать – зарабатывать. Как всем будет легче!

Мать не сказала ничего, но у нее встрепенулось сердце. Она хоть немножко уплатит кое-какие долги.

Лида ушла мечтать в сад. За время войны она не служила. Она отдохнула, выпалась. И вдруг стала мечтать. Там, где она плавала, стал ей встречаться американский мальчик. Славный такой! Года на два-три старше. Куда Лида ни пойдет, он как-то все там же. И все улыбается. Всегда поклонится. Скажет «здравствуйте» и «какая погода, – не правда ли?». Что бы это могло значить? Неужели? О, неужели?

Она побежала к Бабушке спросить:

– Как Вы думаете, Бабушка, когда я совсем вырасту, буду я красивой?

Бабушка внимательно посмотрела на Лиду:

– Как сказать! Ты не будешь такой красивой, какою была Таня. Но ты будешь ничего себе.

– И только?

– Ну, да, довольно хорошенькая.

– А я пою хорошо?

– Хорошо. Но у тебя нет школы.

Лида только вздохнула. Но и с этим – «хорошенькая, поет хорошо» – еще можно жить. Ей сшили платье. Вот есть надежда на туфли. Стоит жить! Не надо огорчаться. Живут же другие и без голоса, и без туфель.

– Чем мечтать, – сказала Бабушка, посмотрев на Лиду, – вычисти-ка все сковородки. Я говорила, не доверяйте посуду Кану. Потрогай, они липнут.

Только Лида вошла во вкус работы, как Мать вернулась с базара. Она была очень взволнованна и скорее позвала Бабушку.

– Послушайте только, что я узнала в лавке на базаре. Кан – мошенник. Все эти люди, что жили у нас на черном дворе и в подвале, совсем ему не родственники. Он набирал их, когда бомбардировали китайский город, и предлагал убежище здесь, у нас, на британской концессии – за деньги! Он также брал деньги за тот рис и чай, что мы давали им. Вы понимаете, как эти люди должны были смотреть на нас? Вы видите, во что превратилось наше гостеприимство...

– Действительно, – сказала Бабушка. – Лида, позови Кана. Он убирает подвал.

Но Кан не понимал ни одного слова из того, что ему говорили. Только лицо его несколько побледнело да глаза стали уже. Он показывал признаки больших усилий, чтобы понять, чего от него хочет Бабушка и о чем она спрашивает. Отвечал он ей самым почтительным тоном. Какие люди? В подвале? Там он был сейчас, но не видел никого. Там нет людей. Родственники? Да, у него есть родственники. Много родственников. Но он не знает, где они сейчас. Деньги? Он брал деньги? Он никогда не брал чужих денег. Он содрогался при одной мысли об этом. Пища? Рис? Какой рис? Он никогда не просил риса. Бабушка сама, по своей воле, раздавала пищу людям во дворе и в подвале.

– Кан, – сказала Бабушка, и в ее тоне был большой упрек, – это плохо и стыдно. Я узнаю правду. Вечером придет мистер Питер, он понимает по-китайски – и ты должен будешь ответить ему правду.

Тут раздался звонок, и Кан ринулся открывать двери. Телеграмма для миссис Парриш от ее брата. Задержанный беспорядками военного времени, он теперь предполагал быть в Тяньцзине через три дня.

И вдруг от этой новости всем стало грустно! Семья уже полюбила миссис Парриш, сжилась с ней. А сама миссис Парриш, слегка навеселе, так приветствовала телеграмму: – Дудки! Никуда с ним не поеду. Мне и тут хорошо. Двадцать лет не видались, и вдруг давайте жить вместе. Бывают же у людей идеи! Бабушка, не сыграть ли нам в карты?

А Дима был в отчаянии от телеграммы. Конечно, если трезво посмотреть на дело, Собака законно принадлежала ему. Есть и документ на право собственности. За подписью. Тут он, в кармане штанишек, в маленькой баночке. Но ведь взрослые не уважают закона, не помнят обещаний, не держат честного слова. В его коротенькой жизни мало ли доказательств этому? Даже самые близкие, скажем Лида и Петя, пообещают и забудут. Ах, много знал Дима о ложных обещаниях и фальшивых проектах благодеяний! Строго говоря, в мире только три существа без фальши: он – Дима, Собака и Бабушка.

Глава четырнадцатая

Вечером Петя вернулся домой. Это был какой-то новый, изменившийся Петя. Он был темен лицом и глядел как-то печально. Чтобы понять перемену в нем, надо побольше сказать о Пете.

Он не получил систематического образования. В беженстве его учили здесь и там, всему понемногу. Голод – физический и интеллектуальный – был постоянным спутником его молодой жизни. Они росли вместе. Влияние Семьи было благотворно для сердца, но не давало перспектив глядеть вперед и строить жизнь. Хотя он говорил, писал и читал на четырех языках, как и Лида, он ни одного не знал в совершенстве. Петя служил приказчиком в лучшем английском магазине, и хотя работал так же, как его английские коллеги, с ним обращались как с низшим и платили вдвое меньше, потому что он был русский. Он представлял дешевый труд на иностранных рынках. Таких, как он, считалось обыкновенным делом и унижать и эксплуатировать для интересов развития международной торговли. Таким, как он, некуда было уйти, и у них не было защиты.

Петя был горд. Он знал, что у него были и способности и таланты. За ним стояли многие поколения предков, честных и благородных. Он сам не сделал ничего низкого или бесчестного. При всяком унижении, часто нарочитом, он внешне ничем не выражал своих чувств. Несмотря на молодость, он был необыкновенно сдержан и молчалив. Было время, он очень искал дружбы. Как хороший футболист, он стал членом английского спортивного клуба. Его включили в лучшую команду. Но интерес и внимание к нему начинались и оканчивались на футбольном поле. Никто из членов клуба ни разу не пригласил Петю в свой дом, потому что он был русский. После удачной игры они весело прощались с Петей и катили в автомобилях в свои виллы. Петя шел один, пешком, к себе домой. Да, дом англичанина действительно крепость. И все же Петя – и с каким трудом – ежегодно платил клубный членский взнос. В душе он начинал сомневаться, что поступает правильно. Уйти бы. Пусть поищут другого, а на эти деньги купить бы что-то для Димы и Лиды. И все же он еще не решался. Эти несколько часов в обществе людей богатых, не загнанных ни нуждой, ни страхом, были ему как-то очень нужны. Хотелось видеть, что есть иная жизнь и ее как-то можно добиться. Просто посидеть на веранде клуба, в глубоком кресле, пройти в библиотеку или в сад, где дорожки посыпаны красным песочком, видеть ряд блестящих автомобилей, слышать здоровый смех – и, главное, видеть эту английскую уверенность, что все так и надо, так было, так будет. Все это как-то увлекало Петю, делалось отправной точкой его размышлений о жизни, о людях, о социальном и расовом неравенстве – и о том, что все это – современная цивилизация, и надо жить или в ней, или вне ее, подчиняться ей или ее отрицать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.